

**ИЛ**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Томмазо Ландольфи

# Солнечный удар





## **Томмазо Ландольфи**

(1908—1979) —

известный итальянский писатель, эссеист, специалист по русской литературе, переводчик Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тютчева. Во времена фашизма подвергался преследованиям со стороны режима Муссолини. В начале литературного пути примыкал к представителям герметизма. Произведения Ландольфи, сюжеты которых строятся на абсурдных ситуациях, фантастических событиях, невероятных коллизиях, содержат критику существующего миропорядка.

Томмазо Ландольфи автор книг "Диалог о главнейших системах", "Лунный камень", "Тараканье море", "Меч", "Невероятные рассказы", "Наугад" и др., а также ряда работ о русских классиках XIX века.



Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Tommaso Landolfi

Томмазо Ландольфи

## Солнечный удар

Рассказы

*Перевод с итальянского*

*Составление Г. Киселева*

*Предисловие Л. Аннинского*

Москва  
«Известия»  
1987

И (Итал)  
Л22

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*Рецензент Н. Г. Елина*

*Обложка художника В. Освера*

В книге использованы работы итальянского художника Джорджо Де Кирико

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1987

## Бытие и небытие Томмазо Ландольфи

Передавали, что Ландольфи умер таинственно, в духе своих рассказов. Он «исчез». Семидесятилетний старик «пошел прогуляться» и пропал бесследно. Всеевропейская знаменитость, прославленный писатель, лауреат десятка литературных премий — растворился в воздухе...

«Сон и явь настолько переплелись, что невозможно определить, где реальность, а где призрачность».

...В воздухе его сумрачной прозы, полной колдовских чар и тревожной символики, такой конец кажется предсказанным, наведенным. Может быть, он не столь уж и невероятен для новой итальянской реальности, где террористы похищают бывшего премьер-министра в качестве заложника и мафия на равных борется с правительством. Но все-таки Томмазо Ландольфи, окончивший свои дни летом 1979 года, прожил жизнь отнюдь не в таинственно-романтической сказке. Он обрел себя не в стенах заколдованного замка и не среди неуловимых разбойников, как можно вообразить, читая его рассказы. Он имел дело с ситуацией несколько иного толка.

Ему было шестнадцать лет, когда в Италии победил фашизм. Ему не удалось укрыться ни в стенах родительского дома в Лацио, где он вырос, ни в лабиринтах филологии, которую он изучал во Флоренции. Реальность выволокла его из всех убежищ, лишила родительской защиты, пустила в стадо мужского лица — с этого лица в Прато выработалась у него, как свидетельствуют биографы, привычка воспринимать слова и явления иносказательно и символически: только так он и мог вынести доставшуюся ему реальность.

Реальность воцарилась ясная и недвусмысленная; она утвердилась на законе силы, на «воле масс», она не оставля-

ла индивидууму никаких иллюзий на предмет свободы самоопределения.

Ландольфи не был ни политическим борцом, ни даже сколько-нибудь внятным оппонентом режима; скорее, он был «человек со стороны». Он сотрудничал после университета в литературных журналах больше нейтральных, чем антифашистских. И все-таки при Муссолини он угодил в тюрьму. Тотальное общество не щадило не только своих прямых противников — это-то было логично, оно не давало покоя и людям со стороны: никакому человеческому существованию, пытавшемуся остаться «самим собой», фашизм не обещал снисхождения. Он всех собирал в пучок, он все делал ясным, он все души высвечивал беспощадным светом. Здесь тоже была своя логика, логика всеобщей втянутости, — именно эту слепящую логику суждено было испытать на себе молодому писателю: тут легла его судьба, его «тема».

Ему хотелось уйти в тень. Непроясненность его биографии (практически жизнь Ландольфи не описана даже в современных монографиях, посвященных его творчеству) — следствие этого всегдашнего стремления раствориться в воздухе. Уйти от вопросов. «Не быть».

Кажется, Сангвинети или кто-то другой из литераторов попросил его рассказать биографию. Ландольфи ответил: — Это не в моих силах. — Потом прибавил: — То, что это не в моих силах, в конце концов тоже факт моей биографии...

Он не любил давать интервью, не любил говорить по телефону, не любил ездить в автомобилях. Он ходил пешком. Ощущение такое, что он боялся любой формы социальной, психологической и даже просто физической зависимости, ангажированности, фиксированности в чем-то поле зрения. В тень, в тень! Знаток и признанный переводчик русской классики, загляни он поглубже в украинские корни столь любимого им Гоголя, он нашел бы гениальную формулу своего страха у Григория Сковороды: «Ловил меня век — не словил», — но и Гоголь, панически бегущий от таинственных опасностей, был родствен Ландольфи этим страхом, только мания преследования, поселившаяся в душе



итальянца середины XX века, имела отнюдь не таинственный источник: он был обложен ослепительным безумием фашизма.

В Италии 30-х годов, где на литературу вдруг пала обязанность стать продолжением тоталитарной реальности, имелось не слишком много альтернатив, но все-таки альтернативы имелись. В конце концов Ландольфи, с его причудливыми рассказами, мало напоминавшими реальность и еще меньше служившими той здоровой «ясности», которую насаждал режим, Ландольфи издавался. Он все-таки писал, и писал так, как считал нужным. Его отнесли к оппозиции совершенно определенного литературного толка — к герметикам. Общее действительно было: глобальное ощущение зла, воцарившегося в мире, стремление отделиться от этого зла непроницаемой стеной, наконец, дружеские отношения с Эудженио Монтале — Ландольфи, естественно, примкнул к герметизму, отчетливо оппозиционному направлению итальянской литературы.

Примкнул. Но не вписался.

В глубине, в основе, тут лежало капитальное несхождение.

Герметизм защищал, укрывал, спасал нечто — некую содержательность индивида.

Ландольфи же, защищая, укрывая, спасая от тоталитарного прожектора нечто, номинально означавшее индивида, — обнаружил, что он спасает... н и ч т о . Индивид был насквозь пробит, просквожен беспощадным светом «целого». Он оказался прозрачен, ирреален в своем бытии... или небытии?

В сущности, бытие равно небытию — вот вывод Ландольфи. Вывод, вполне абсурдистский с точки зрения нормальной, здоровой логики и доставивший Ландольфи в истории современной итальянской литературы, да и в мировом литературном процессе (куда Ландольфи, с ростом популярности его книг, оказался прочно включен), репутацию какого-то неприкаянного чудака и парадоксалиста.

Для понимания рассказов Ландольфи нужен «ключ». Ключ вовсе не сюрреалистический, хотя в итальянскую прозу

XX века Ландольфи оказался в конце концов вписан именно как сюрреалист. Это дело тонкое. Мне вообще плохо верится в искусство, которое ставит себе целью создать из элементов реальности нечто ирреальное, передать хаос и бессмыслицу через хаос и бессмыслицу. Хаос и так имеется. Художник или строит космос, или кончается как художник. Ключ, ключ нужен.

«Диалог о главнейших системах» (1937) по внешности — нагромождение нелепиц. Некий капитан преподает герою под видом персидского языка какой-то доморощенный волапюк; герой пишет на этом непонятном языке непонятные стихи и несет известному критику; критик думает, что его мистифицируют, валяет дурака, уклоняется от ответа; все это странное взаимное мороченье кончается тем, что герой сходит с ума. Или притворяется, что сходит. Рассказ, если читать его как «запись безумства», в лучшем случае может потешить нас в качестве пародии на филологическое псевдоумие. При чем тут к тому же Галилей?..

Однако, когда знаешь ключ к судьбе Галилея, хаотическая апология хаоса уже начинает выявлять в себе строй и смысл. А если вчитаться в интонацию, то ключ к рассказу дается в первой же фразе:

*«Когда поутру встаешь с постели, кроме чувства изумления, что по-прежнему живешь, не меньшее изумление испытываешь и оттого, что все осталось в точности так, как было накануне...»*

Постойте, а что, собственно, должно было произойти? Почему человек, доживший до утра, изумляется этому факту? Интонация такого восторга наводит на мысль, что нормой-то является не дожить до утра. Это и есть суть высказывания, какой бы невозмутимостью ни прикрывался здесь тихий ужас. С такой же невозмутимостью Эпиктет беседовал когда-то с господином, ломавшим ему ногу. Ландольфи пишет вовсе не о графомане, которому «подвернулся один англичанин», учивший его «персидскому языку», — речь идет о существовании индивида, изначально растоптанного в прах. Об изумлении человека, который дожил до утра в своем

доме, причем к нему не ворвались с обыском, не поволокли на допрос, не заставили подписывать здравицу в честь дуче или фюрера. Может быть, тень застенка впрямую и не падает на героя Ландольфи. Может быть, он просто слышал рев восторженной толпы на залитом солнцем стадионе. Этого ему достаточно: теперь он живет в презумпции небытия.

Он был бы рад хоть на мгновение забыть о своей обреченности. Он хотел бы бежать... куда? Куда бежать? В «чистое искусство», в «твердыню слова» \* — но всякое слово заранее взято на прицел: ничего нельзя назвать своим именем. Что делать? Выдумать «новый язык»? Но все поймут, зачем эта выдумка. Круговой страх: критик юлит, крутит, говорит как бы не от своего лица; он хочет выйти сухим из воды, он уверен, что его топят, провоцируют. Да что критик — автор стихов сам отрекается от написанного. Того прошибает холодный пот, этот сходит с ума...

У человека нет убежища ни в реальности, ни в словесности: его все равно высветят, выхолостят. Попытка спрятаться — такая же иллюзия, как все в этом мире... тут посещает героя Ландольфи самая страшная догадка: не в том дело, что спрятаться негде, а в том, что человеку нечего прятать.

И все-таки поначалу он ищет убежища. Лейтмотивы раннего Ландольфи: дырка, в которую хочется залезть, укрыться, старая одежда, в которую надо втиснуться. Старые вещи, заплесневелые подвалы, заброшенные чердаки... Черви, пауки, крысы, полчища тараканов. Копшение жизни, лишенной человеческого содержания, оборачивающейся какой-то босховской гримасой... Воплощая свою сквозную, изначальную тревогу в «ткань реальности» (и входя как рассказчик в период зрелого мастерства — я имею в виду изданный в 1942 году сборник «Меч»), Томмазо Ландольфи оснащает свой мир аксессуарами то ли средневековых хроник, то ли полных чертовщины легенд.

\* Мысль О. Мандельштама: о *крепости* слова, в которую спасается культура.

Пустынные дома... или замки? Подвалы... или подземелья? Тайные завещания, клады, сундуки. Волшебный меч, рассекающий все, чего касается его жало.

Антураж — традиционно романтический. Но странна манера рассказа. Повествует Ландольфи вроде бы о таинственностях, требующих веры и, так сказать, сквозной иллюзии. Однако в стиле его письма — нечто иное, решительно не соответствующее театральности. Обрисовав нам что-нибудь зловещее, полное ужаса или тайны, он может тотчас прибавить: «Хм, ну и что?..» — или: «Что это за чушь!» Из-под романтической маски показывается лицо современного скептика, пробующего собственный рассказ ледяной логикой и горькой иронией.

Это сочетание романтического декора и горькой трезвости напоминает Борхеса. Параллель, не новая в критике. Однако есть у Ландольфи черта, существенно отличающая его от великого аргентинца. Противопоставляя жалкому безличию современного массового общества «потерянный рай» прошлого, Борхес в этом прошлом видит все-таки некую онтологическую реальность; его «поножовщики», умирающие в открытом бою, — все-таки опора духу. У Ландольфи романтический разбойник — такая же духовная мнимость, как убиваемый им синдик («Разбойничья хроника»). Это все тени из «хроники», проливаемая ими кровь — краска, опоры нет; снимая с человека слой за слоем, Ландольфи в итоге снимает «все», в итоге там — ноль, пустота, мнимость. И этот ноль, эта пустота, этот, как сказали бы немцы, у н г р у н д, эта, как сказали бы русские, б е з д н а и есть то финальное открытие, то окончательное потрясение, которым завершается парадоксальный художественный мир Ландольфи...

Мир, в котором мнимость изобличается ледяным и ясным разумом. Пепел, остывающий после о г н я, — вот символ этого мира. Солнечный удар, после которого на месте жизни остаются какой-то хлам, сор, чепуха...

Ненависть Ландольфи к огню и солнцу можно истолко-

вать, конечно, как «знаковую оппозицию» и только. Знак огня — свастика; рассказы об убийственности солнца («Солнечный удар», «Огонь») написаны в разгар фашизма. Фашизм — солнечен? В Германии к нему примешивалось нечто от северного мистицизма, нечто «фаустовское», говоря словами Шпенглера. В Италии спектр был несколько другой; здесь режим гримировал себя под «Рим цезарей», здесь залитый солнцем орущий стадион был как бы возрождением античного «форума». Солнце оказалось оседлано прочно: фашизм в Италии, с его «аполлинической» пластичностью и ясностью, ссылаясь на осязаемое будущее, на право силы, заливающей мир недвусмысленным светом. Встающее солнце, сверкающая перспектива, яростная ясность — всей этой системе знаков Ландольфи бросает тихий, твердый вызов. Он — писатель тени, тьмы, укрома. Главное же — он писатель вызывающей ужас пустоты, которая шире эмблематики. Это не пустота бездумья — с бездумьем режим замечательно ладит; это пустота умственного самосжигания. Во власти огня — не люди, не лица, не существа, имеющие форму; во власти огня — скользящие блики, тени зловещего сна, жалкие маски, вспыхивающие мгновенным фейерверком и оставляющие после себя только прах...

Апология небытия вразрез триумфу счастливой толпы граничит у зрелого Ландольфи с мистификацией, с казуистикой и издевательской игрой. Собаки меняются местами с людьми. Человеческая жизнь описана как собачья («Новое о психике человека»). Тут еще можно расслышать отголоски здоровой политической сатиры. Однако трактат о мелотехнике, «о весе и плотности звуков», о том, как «звук, изданный тенором, рассек партнера пополам», несет в себе какую-то зловещую магию: словно материализуется связывающая все и вся невидимая вязкая сеть, густеет пустота, камни сыплются с чистого неба.

Есть вообще у Ландольфи неожиданное ощущение коварной тяжести за легкой, как бы непринужденной, «факирской» техникой письма. В понятиях традиционного реализма можно было бы сформулировать это ощущение так: жизнь

вопиет у Ландольфи из «пор» фантастики; под обликом «мистификатора» прячется чуткий и сострадающий реалист. Вдруг появляется в финале «бала мертвецов» щенок, из тех, «что сотрясаются в лае всем телом, заливаясь на весь дом пронзительным тьяканьем, совершенно, впрочем, несоответствующим их крошечным размерам...» — зоркость, достойная писателя, который учился у автора «Каштанки». Поразительная зоркость Ландольфи производит особенно неожиданное и странное впечатление именно потому, что он отказывается видеть «целое». Он видит даже не детали, он видит... швы. Костюм призрачен, не виден, а вот заплатка на нем видна. Фигуры нет — есть шрам, рубец. Лейтмотив: рассеченное существо, еще не знающее, что оно рассечено; мгновение — и оно начнет непоправимо распадаться. Страшен финал рассказа «Меч»: прекрасная девушка, лицо которой рассечено волшебным лезвием, пытается улыбнуться своему убийце...

*«Ее лицо чуть треснуло и постепенно стало распадаться».*

Кафкианская зоркость. Нет, перед нами художник, вовсе не отрешенный от реальности, — когда сборник рассказов издается в 1942 году, да еще называется «Меч», и в нем нет *ни намека* ни на войну, ни на разрывающую мир историческую реальность, — здесь отказ видеть то, что видят все, становится вызовом. Ландольфи не хочет видеть то, что все. Именно потому, что знает всему цену. По грустному определению его биографа, он пристально следит за итальянской реальностью, но едва он ее невзначай касается кончиками пальцев — мгновенно отдергивает руку с ощущением, что никогда уже не отмоется.

Мир Ландольфи — вовсе не автономная художественная система, построенная в замену отрицаемому реальному миру, скорее, это «вытяжка» алхимика: алхимик делает вид, что извлекает нечто, хотя знает, что извлекает ничто, и смысл опыта именно и состоит в испытании пустоты.

Таинственный романтический маскарад, столь характерный для раннего Ландольфи, по ходу дела теряет смысл. Зрелый художник все чаще оставляет игру в маски ради

игры, вскрывающей откровенные мнимости. Возникает головоломный казуистический узор, сам себя запутывающий и сам себя исчерпывающий. 1966 год: сборник «Невероятные рассказы». Убийца над трупом жертвы соображает, в какую руку убитого лучше вложить пистолет для имитации самоубийства. Убитый — левша. Но если полиция не знает, что он левша, такая тонкость может навести ее на подозрения, как нечто подобное уже описано в одном из рассказов Эмиля Габорио... Высчитывая, перехитрит ли он полицию или, ошибившись на один порядок, вляпается в ловушку, убийца стоит над телом и теряет драгоценные минуты. Казуистика предположений и опровержений втягивает его, как воронка. Человек — игрушка собственного взбесившегося разума, раб его отчужденных законов. Реальность исчезает в тенётах логики, вы о ней уже и не вспоминаете. Что происходит-то? Ведь человек убит! Кто он, почему убит, как умирал? — помилуйте, это нереально. Реальности нет, спрашивать об истине смешно, потому что ошибка и есть истина, а истина и есть ошибка...

Жизнь и смерть — одно и то же. Свобода и рабство — одно и то же. Бытие и небытие неразличимы. Невозможно выделить из общего, захватывающего все потока жизни какую-либо отдельность, индивидуальность, как в глади сверкающего над нами неба нельзя выделить «кусочек» неба. Человек невыделим, ему нет спасения; ему остается только идти со всеми, веря, что это не тупик, хотя «тупик» и «путь» — одно и то же. От логики можно скрыться только в игру слов, но логика в свою очередь — та же игра слов. Смешно говорить о причинах или о масштабах: величие составляется из нагромождения ничтожеств...

Диалог профессора с учениками в рассказе «Мудреное понятие», из которого я беру эту цепочку парадоксов, парадоксален только по форме. Диалог происходит как бы в потустороннем мире, и ведут его словно бы тени людей, живших когда-то в реальном мире, но забывших об этой жизни. Но смысл диалога реален. По существу, это драма, в ходе которой тихий скептический интеллигент профессор

пытается расколоть словом стадионную нерасчлененность аудитории, пробудить ее уснувшую память.

Так что из чего? Пустота ли индивида — следствие того, что миллионы сбиваются в нерасторжимые полчища? А может, наоборот: потому люди и сбиваются в полчища, что внутренняя пустота гонит их в толпу? Индивид умирает в толпе... А может, это только кажется со стороны, что умирает, а на самом деле он оживает там, он там счастлив, он этого хочет?

Нет, причудливые рассказы Ландольфи не сюрреалистичны при всем их подчеркнутом безумии. Смысл этих рассказов — реакция интеллектуала на фашизм, на ту духовную опустошенность, которую порождает тотальное самооболванивание. И это настоящая драма духа, потому что опустошение начинается из глубины личности.

Перед нами автопортрет обреченного, отколотого сознания.

Портреты Ландольфи редки: он избегал «света юпитеров».

На одной из немногих фотографий, в сборнике 1976 года, — пожилой человек с гладко зачесанными темными волосами, с аккуратно подстриженными усиками. Что-то от факира, от артиста, от иллюзиониста. Пронзительный взгляд. Странная улыбка... нет, подобие улыбки, «начало улыбки», словно бы страх улыбки. Как будто от улыбки вот-вот треснет мироздание и начнет разваливаться все: лик, мир...

Практически это первый выход Томмазо Ландольфи к русскому читателю. В каком-то смысле это «возврат дара»: всю жизнь Ландольфи переводил русские книги — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Тургенева, Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова, Бунина. Собственно, он и был известен в Италии как переводчик с русского, пока соотечественники не разглядели в нем одного из корифеев прозы XX века. Может быть, русская классика помогла ему сохранять присутствие духа в странствии по «тараканьему морю» реальности?



Так теперь он возвращает нам свой опыт.

Итальянский опыт? Не вполне: в качестве и т а л ь я н с -  
кого писателя Ландольфи не очень характерная фигура,  
скорее это «всевропеец», всю жизнь преодолевавший  
итальянскую «провинциальность».

А если «всевропеец» — то не тот ли, кому русская «все-  
человечность» прибавила сил устоять?

Бытие так же неисчерпаемо, как и его отрицание. Книги,  
в которые отливается экзистенциальный ужас, есть уже са-  
мым фактом своим победа над пустотой.

*Л. Аннинский*

## Диалог о главнейших системах \*

Когда поутру встаешь с постели, кроме чувства изумления, что по-прежнему живешь, не меньшее удивление испытываешь и оттого, что все осталось в точности так, как было накануне. В каком-то нелепом забытии смотрел я в просвет меж оконных занавесок, как вдруг послышался нетерпеливый стук в дверь. То был мой приятель Y.

Я знал его как человека стеснительного и неуступчивого. Он самозабвенно предавался каким-то загадочным исследованиям, проводимым, словно обряд, в уединении и тайне. Поэтому я был немало удивлен, увидев его в то утро таким возбужденным. Пока я одевался, разговор шел о всяких пустяках. Я сразу отметил про себя, что из состояния глубокой подавленности Y с необычайной быстротой переходил к восторженности, казавшейся мне наигранной; ясно было, что с ним произошло что-то необыкновенное или ужасное. Наконец я с готовностью уселся напротив и услышал странный рассказ, который для простоты изложения передаю от первого лица. Y заранее попросил меня не перебивать его, сколь бы необычной или бессмысленной ни казалась его история. Впрочем, он будет как можно более краток. Изумленный и заинтригованный, я согласился.

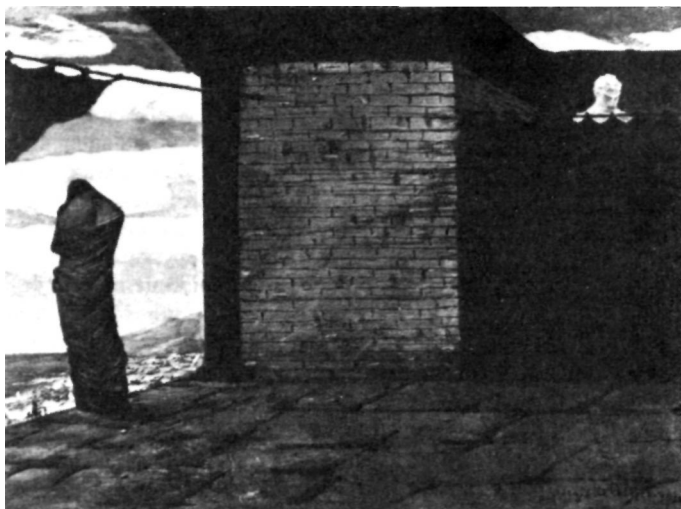
— Да будет тебе известно, — начал Y, — что много лет тому назад я всерьез занялся кропотливым вычленением составных элементов произведения искусства. Постепенно я пришел к четкому и неоспоримому заключению, что иметь

\* В названии рассказа прямая аналогия с названием программного сочинения Г. Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира». (Здесь и далее, кроме оговоренных, — прим. перев.)

в своем распоряжении богатые и разнообразные выразительные средства — условие для художника отнюдь не самое благоприятное. Например, по моему мнению, гораздо предпочтительнее писать на недостаточно изученном языке, чем на языке, которым владеешь в совершенстве. Даже не вдаваясь сейчас в подробности по поводу терпеливого и мучительно долгого пути, которым я пришел к такому простому заключению, думаю, что и сегодня его можно без труда подкрепить некоторыми несложными соображениями: ясно, что человек, не знающий точных слов для обозначения предметов или чувств, вынужден прибегать к описанию их с помощью других слов, сиречь образов. О степени достигаемого при этом художественного эффекта ты можешь судить сам. И вот, когда мы обошли специальные термины и общие места, что может помешать рождению произведения искусства?

Здесь Y, видимо удовлетворенный своими доводами, на какое-то время умолк, устремив на меня из-под полуопущенных век взгляд в котором уже не было прежней тревоги и боли. Но, заметив мое умиленно-вопросительное выражение, он со вздохом продолжил:

— После того как я пришел к этому заключению, надо же было случиться, подвернулся мне один англичанин. Был он капитаном и вдобавок форменной бестией (скоро поймешь почему). Господи, зачем ты не уберег меня от этого злодея? Теперь я навеки лишился покоя! Во внешности капитана не было ничего примечательного. Столовался он в том же трактирчике, что и я, и был охотник прихвастнуть всевозможными рассказнями о бесчисленных своих одиссеях, неизменно собирая вокруг себя толпу любопытных. Он провел уж не знаю сколько лет на Востоке, изучив изрядное количество восточных языков (по крайней мере он так уверял). Особо же гордился он знанием персидского и частенько обращался на каком-то неведомом наречии к растерянному официанту. В результате выяснялось, что капитан желал заказать стакан вина и бифштекс. Как ты сам понимаешь, я ненавижу этого человека, но ему все равно удалось завязать со мной



Загадка оракула. 1910 (?).

разговор, и в один злосчастный день он вызвался учить меня персидскому. Мне не терпелось испытать на себе справедливость собственной теории, и в конце концов я дал согласие. Ты, верно, уже догадался, что я задумал овладеть этим языком лишь наполовину: уметь объясняться на нем, но не до такой степени, чтобы называть вещи своими именами. Наши уроки проходили регулярно... почему я не противлюсь соблазну поведать тебе все печальные подробности этой истории?.. Вскоре я начал делать стремительные успехи в новом языке. По мнению капитана, языки следует изучать посредством разговорной практики, поэтому за все это время я ни разу не увидел текста на персидском языке (впрочем, отыскать таковой было бы далеко не просто). Взамен этого во время прогулок с моим учителем мы говорили только по-персидски. Когда же, утомленные ходьбой, мы забредали в какое-нибудь кафе, тотчас чистые листы бумаги перед нами покрывались странными мелкими значками. Так прошло немногим более года. В последнее время капитан неустанно расточал в мой адрес похвалы за ту легкость, с которой я усваивал его уроки. Однажды он объявил мне, что вскоре намерен отправиться, кажется, в Шотландию, куда и впрямь отбыл, точно растаяв в воздухе, и где, надеюсь, получил сполна за все свои художества. С того времени я его больше не видел.

У вновь умолк, видимо, чтобы справиться с нахлынувшими воспоминаниями. На его лице изобразилась гримаса мучительной боли. Наконец он сделал над собой усилие и продолжил:

— Меж тем знал я уже достаточно, чтобы продолжать свой опыт. Именно на это я и направил весь свой пыл и старание. Я сказал себе, что буду писать только на персидском, точнее, это относилось к потаенной страсти души — к моим стихам! С того часа и до недавнего времени я сочинял стихи исключительно на персидском. К счастью, как поэт я не очень-то плодовит и все, что создал за это время, сводится к трем небольшим вещам. Я их тебе покажу. На персидском.

Мысль о том, что он писал на персидском, явно не давала У покоя. Но я никак не мог понять почему.

— На персидском!.. — повторил У. — А теперь, дружище, самое время открыть тебе, какой же язык этот проклятый капитан окрестил персидским. Месяц назад мне неожиданно захотелось прочесть в оригинале одного персидского поэта — вряд ли ты его знаешь: ведь, читая поэта, нет опасности основательно выучить язык. Я стал готовиться, тщательно просмотрел все старые записи и заключил, что вполне в состоянии осилить эту затею. Немалых трудов стоило мне достать наконец желанный текст. Помню, как мне вручили его аккуратно завернутым в веленевую бумагу. Дрожа от предвкушения первой встречи, я тотчас пришел домой, растопил печурку, закурил сигарету, установил лампу так, чтобы свет падал на драгоценную книгу, устроился поудобнее и развернул пакет... Вначале я решил, что произошла ошибка: знаки, которые я увидел, не имели ничего общего с тем, чему научил меня капитан! Не стану вдаваться в долгие подробности: никакой ошибки не было. Книга действительно была на персидском языке. У меня еще оставалась надежда, что капитан хоть и подзабыл персидские буквы, но все же научил меня этому языку, пусть даже с вымышленным алфавитом. Но и эта надежда была развеяна. Я все перевернул вверх дном: перерыл кучу персидских грамматик и хрестоматий, принялся искать и нашел-таки двух настоящих персов и в конце концов... — рассказ бедняги прервался рыданием, — в конце концов передо мной открылась страшная правда: *капитан научил меня не персидскому!* Стоит ли говорить, что я бросился на поиски: может, это был какой-нибудь якутский, айнский или готтентотский язык? Я связался с крупнейшими лингвистами Европы. Напрасно, все напрасно: *такого языка не существует и никогда не существовало!* В отчаянии я решил написать этому мошеннику капитану (он оставил мне свой адрес «на всякий случай»), и вот вчера вечером получил ответ.

У печально опустил голову и протянул мне измятый лист бумаги, на котором я прочел: «Милостивейший государь! У меня в руках Ваше письмо от такого-то числа, такого-то месяца. Должен признаться, что, несмотря на свой богатый

языковой опыт («Наглец!» — вырвалось у Y), я еще ни разу не сталкивался с языком, о котором Вы упоминаете. Приводимые Вами выражения мне совершенно неизвестны. Поверьте, скорее всего они плод Вашего пылко воображения. Что же до отмеченных Вами диковинных знаков, то, с одной стороны, они напоминают амхарскую письменность, с другой — тибетскую. Однако, уверяю Вас, ни к первой, ни ко второй они не относятся. Касательно того случая, о котором Вы пишете, — славное все же было времечко! — отвечу Вам откровенно: во время наших уроков персидского я и впрямь мог подзабыть какое-нибудь правило или отдельное слово — помилуйте, времени-то сколько прошло, — но в этом я не вижу ни малейшего повода для тревоги, ведь у Вас всегда найдется возможность исправить любую мою невольную оплошность (sic!). Непременно держите меня в курсе всех событий...» и так далее.

— Теперь все я с н о , — проговорил Y, встряхнувшись. — Не думаю, чтобы этот проходимец хотел просто посмеяться надо мной. Скорее всего, то, чему он меня научил и что считал настоящим персидским, был, так сказать, его собственный персидский язык, какое-то наречие, искаженное и видоизмененное настолько, что оно не имело уже ничего общего с исходным языком. Добавлю к этому, что в знаниях самозванца не было и намек на твердость и основательность. Этот злополучный бродяга, будучи в нерешительности относительно тогдашних своих знаний и, быть может, наивно стремясь восстановить ранее утерянные, изобретал чудовищный язык по мере того, как преподавал его. И как это часто бывает с такого рода импровизаторами, впоследствии он начисто забыл о своем изобретении и теперь лишь простодушно всему удивлялся.

Свое заключение Y произнес совершенно бесстрастно. Но тут же не сдержался и добавил:

— Он начисто о нем забыл, не упускай это обстоятельство из виду! Ты хотел правду? Вот она! — выкрикнул Y, бурно изливая на меня свое негодование. — Самое печальное состоит в т о м , — добавил он дрогнувшим голосом, — что этот

проклятый язык, который я даже не знаю, как и назвать, этот язык прекрасен, прекрасен, и я безумно люблю его!

Окончательно убедившись, что Y немного успокоился, я счел уместным высказаться.

— Ну хорошо, — начал я. — История, конечно, скверная, столько усилий — и все впустую. Хотя, если разобраться, ничего страшного в этом нет.

— Вот, вот, все вы так думаете, — ответил Y сгоречью. — Значит, ты так и не понял, в чем весь ужас, вся непоправимость положения? Неужели тебе не ясно, в чем все дело? А три моих стихотворения? Три стихотворения, — волнение его возросло, — в которые я вложил все лучшее, на что способен! Можно ли их вообще называть стихами? Коль скоро они написаны на несуществующем языке, получается, что они на никаком языке! Ответь мне, что станется с моими тремя стихотворениями?

Я вдруг понял, в чем дело, и мгновенно представил себе всю серьезность происшедшего. Теперь настал мой черед в растерянности опустить голову:

— Да, эстетическая проблема пренеобычайнейшая.

— Эстетическая проблема, говоришь? Эстетическая проблема... В таком случае... — Y яростно вскочил со своего места.

То были славные времена. По вечерам мы собирались в компании сверстников и читали, читали великих поэтов. И стихи значили для нас несравненно больше, чем вечно растущий и вечно неоплаченный счет трактирщика!

. . . . .

На следующий день мы с Y стучали в дверь редакции одной газеты. Там у нас была назначена встреча с маститым критиком, одним из тех людей, для которых в эстетике давно уже нет никаких тайн. На их плечах покоится духовная жизнь целой нации, ведь они как никто другой давно проникли в суть всех проблем и вопросов. Не так-то



просто было нам добиться свидания с таким человеком, но Y надеялся обрести после этой встречи душевный покой.

Маститый критик встретил нас вежливой улыбкой. Это был еще молодой человек. Тонкие, ироничные морщинки примостились в уголках его живых глаз. Разговаривая, он то поигрывал стальным разрезным ножом для бумаги, то передвигал по столу книгу в дорогом переплете; время от времени он подносил к носу блестящий тюбик клея, вдыхая исходящий от него запах горького миндаля, пощелкивал в воздухе искристыми редакционными ножницами или подкручивал вниз завитки усов. Критик то и дело сдержанно улыбался, как бы самому себе, особенно если полагал, что собеседник мнит, будто поставил его в тупик. Когда же критик обращался к кому-нибудь из нас, улыбка его становилась светской, и во всем он выказывал чрезмерную учтивость. Говорил он негромко, жестикулировал скупой и тщательно подбирал слова, где надо, сдабривая свою речь иностранными вкраплениями.

Поняв, в чем дело, критик, казалось, на мгновение растерялся, затем мимолетная улыбка скользнула по его губам, и словно в рассеянности, глядя куда-то поверх наших голов, он изрек \*:

— Пишут ли господа на одном языке или на другом, решительно безразлично (на «безразлично» он опустил глаза и изобразил на лице светскую улыбку). Шедевры, к примеру, не обязательно должны быть написаны на широко распространенном языке. На языке господина Y говорят только два человека, вот и все. N'empêche \*\* стихи господина Y могут действительно быть, хм, превосходными.

— Простите, — перебил его Y, — разве не говорил я господину критику, что английский капитан напрочь забыл свою импровизацию двухлетней давности? К тому же, признаюсь, видя, какой оборот принимает дело, я сжег свои старые за-

\* Считаю необходимым заявить, что маститый критик сам избрал в обращении к нам третье лицо. Мы же послушно последовали его примеру. Указанное обстоятельство придало нашей беседе — в этом нетрудно будет убедиться всякому — приятный фантастический оттенок. (*Прим. автора.*)

\*\* Тем не менее (*франц.*).

писи, которые могли бы составить грамматическую или любую другую основу этого языка. Поэтому данный язык должно считать несуществующим, даже в отношении тех двух человек, которые говорили на нем несколько месяцев.

— Смею надеяться, — возразил маститый критик, — что господа не думают, будто признаки реального существования любого языка невозможно различить вне грамматики, синтаксиса и даже, пожалуй, лексики. Просто уместнее будет отнести этот язык к разряду мертвых языков, восстановить которые возможно только на основе сохранившихся документов (в данном случае — трех стихотворений), — и кажущаяся проблема будет разрешена. Господам несомненно известно, — добавил он примирительно, — что от некоторых языков до нас дошли лишь немногие письмена, а значит, и весьма малое число лексических единиц. Тем не менее эти языки суть нечто вполне реальное. Скажу больше: даже языки, существующие только в виде неразгаданных, повторяю, не — раз — га — дан — ных надписей, даже такие языки заслуживают нашего пристального эстетического внимания.

Довольный этой фразой, критик умолк.

— Но позвольте, — возразил тогда я. — Оставим в стороне те языки, о которых господин критик упомянул в конце, хотя, по правде говоря, я не совсем понял его мысль, и обратимся к сказанному о языках ранее. Эти языки, полагаю я, реальны постольку, поскольку их существование обосновывается письменами, пусть даже и немногочисленными, но обратите внимание: обосновывается совокупностью лексики, грамматики и синтаксиса. Словом, письмена обладают признаками структуры, внутренней организации, определяющей их место во времени и пространстве. Иначе их было бы не отличить от любого знака на любом камне, точь-в-точь как в случае с неразгаданными надписями. Можно сказать, что письмена проливают свет на неизведанное прошлое, но и сами благодаря ему приобретают смысл. Это прошлое есть не что иное, как совокупность норм и условий, придающих данному выражению данный смысл. Итак,

какое же прошлое, по мнению господина критика, имеют три наших стихотворения, из чего вытекает их смысл? За ними нет совокупности норм и условий. За ними лишь каприз мгновения, которому так и не суждено было стать системой, каприз, превратившийся в ничто, подобно тому как из ничего и возник.

Маститый критик искоса взглянул на меня; видно, мое «обратите внимание» не давало ему покоя. Ничуть не смутившись, я продолжал:

— Язык, воссозданный по редким письменам, не становится реальным до тех пор, пока не доказано, что по данным письменам можно воссоздать этот и только этот язык. В нашем же случае, при таких скудных данных, можно было бы создать или воссоздать не один, а сто языков. И тогда мы стали бы свидетелями прелестнейшего казуса: одно и то же стихотворение оказалось бы написанным одновременно на ста языках, во многом несхожих друг с другом и отличных от праязыка...

— По-моему, это просто софизм. Во-первых, по законам филологии в подобных случаях принято выстраивать ряд предположений. Такие предположения могут обладать всеми признаками относительной истины, оставаясь все же при этом предположениями. Теоретически это означает, что, основываясь на имеющихся письменах, можно воссоздать не только один язык. Во-вторых, какая господам разница, написано ли стихотворение одновременно на нескольких языках или нет? Главное, чтобы оно было написано на одном языке, и уже не так важно, схож ли этот язык с любым другим или, как выражаются господа, с сотней других языков, коль скоро существует это воображаемое языковое взаимопроникновение. В конце хотел бы заметить с точки зрения более, хм, возвышенной, что произведение искусства может существовать не только вне языковых условностей, но и вне всяких условностей вообще и является единственным мерилом по отношению к самому себе.

— Ну нет! — воскликнул я, видя, что от меня ускользает самый сильный аргумент. — Господину критику вряд ли

удастся выйти сухим из воды. Ведь теперь уже господин критик рискует впасть в софизм. Тем более весьма любезно с его стороны признать, что речь идет о произведении искусства. Но как раз это и требуется доказать: каковы критерии, на основе которых господин критик выведет свою оценку? Позвольте на мгновение вернуться к моему прежнему рассуждению. Говоря о том, что любые письмена содержат и подразумевают некую совокупность языковых норм, я имел также в виду, что чисто языковые характеристики подкрепляются и усиливаются знанием не собственно лингвистическим, но и этническим. Исходя из того, что нам известно о данном народе, мы будем знать навверное, что взятое выражение значимо не только в определенном сочетании, но равным образом и во всех остальных аналогичных сочетаниях. К примеру, одно лишь знание того, что данный народ пользовался данным языком во внутренних и внешних сношениях, представляет для нас убедительное свидетельство неизменности значения отдельно взятого слова. За письменами, господин критик, стоит народ! Меж тем как за каждым из этих стихотворений, в чем мы уже убедились, — ничего, кроме каприза. Ну, а когда так, кто сможет с уверенностью утверждать, что раз от разу то же выражение не будет принимать прямо противоположное значение? В одном и том же сочинении или в разных. Ни одно слово, заметьте, не повторяется в трех стихотворениях дважды. Теоретически, господин критик, можно предположить, что каждое из трех стихотворений содержит некоторый образ (или идею, если угодно) и одновременно — так как ни у одного слова нет четко определенного значения — сотню, тысячу, миллион других образов (или идей).

— Позвольте, позвольте, — вскричал на сей раз маститый критик, позабыв о присущей ему сдержанности. — В таком случае вопрос решается просто: письмена, то есть три этих стихотворения, могут считаться двуязычными. Присутствующий здесь господин Y всегда сможет сообщить нам, что он имел в виду, и перевести свои стихи. Как видите, такого рода возражение не выдерживает критики. — И он полоснул

меня торжествующим взглядом.

Но я не сдавался:

— Господин критик забывает, что стихотворное произведение есть не только образ (или идея), оно состоит из образа (или идеи) плюс из чего-то еще. Оценивая стихи моего друга по тому переводу, который он представит, господин критик окажется в положении человека, судящего об иноязычном поэте по переложению его произведения. Согласитесь, это и нечестно, и непочетно. Мой друг и сам, положив руку на сердце, не может знать, что он хотел сказать, — здесь Y бросил на меня недружелюбный взгляд, — коль скоро он сочинял свои стихи сразу на несуществующем языке. Из этого следует, что и его стихи суть не что иное, как еще одно переложение, сравнимое с тем, которое могли бы сделать господин критик или ваш покорный слуга, будь они на его месте, и поэтому уже по природе своей неполное и переходящее. Такое переложение может выйти совершенно произвольным и не иметь ничего общего с исходным текстом, оказаться, короче говоря, ложным толкованием. Кроме того, нет необходимости напоминать господину критику, что в более широком понимании произведение искусства так или иначе зависит от определенных условий и принятых в них оценочных критериев. Конечный результат изначально можно оценивать лишь на основе использованных средств. Вне божественного не существует абсолютных результатов, и само понятие результата есть понятие относительное. Результаты перемещаются по бесконечной идеальной шкале, но в пределах единой системы нравственных ценностей. Впрочем, не будем отвлекаться. Итак, не назовет ли господин критик те оценочные критерии, которые, по его убеждению, можно применить к произведению искусства?

В кабинете маститого критика воцарилась гробовая тишина. Сам он сидел с отсутствующим видом, как будто не слышал моего вопроса. Затем критик нарочито встряхнулся и, видимо чтобы выиграть время, обратился к Y, расплывшись при этом в сладчайшей улыбке:

— А почему бы господину Y не прочитать нам свои зна-

менитые стихотворения, которые порождают «столь благородную баталию умов»?

— Со мною только одно из них, — пробормотал Y. Ободренный жестом маститого критика, он извлек из кармана несколько листков, испещренных необычными, мелкими, резких очертаний буквами, сплошь усеянными значками ударений. Дрожащим голосом он принялся читать:

Aga magèra difùra natun gua mesciùn  
Sànut guggèrnis soe-wàli trussàn garigùr  
Gùnga bandùra kuttàvol jeris-ni gillàra.  
Làvi girrescen suttèrer lunabinitùr  
Guesc ittanòben katir ma ernàuba gadùn  
Vàra jesckilla sittarànar gund missagùr,  
Tàber chibill garanòbeven lixta mahàra  
Gaj musasciàr guen divrès kòes jenabinitùr  
Soe quadrapùtmijen lòeb sierrakàr masasciùsc  
Samm-jab dovar-lab miguelcia gassuta mibusc  
Sciù munu lüssut junàscru gurulka varusk \*.

Наступило глубокое молчание. Маститый критик поглаживал усы кончиками ножниц, а Y, весь подавшись вперед, устремил на него испытующий взгляд. Наконец Y не выдержал:

— Вслушайтесь же в эти «и» последней строки, в эти рифмы на «usc»! Так что скажет господин критик? — Бедняга, он даже позабыл, что нужно еще кое-что объяснить.

— Весьма, весьма *pas mal* \*\*, поистине *pas mal*! — промолвил критик. — Не будет ли теперь господин поэт так добр перевести свое сочинение?

Прямо с листа Y перевел:

И слезы лил от счастья лик усталый  
И женщина вела о жизни сказ неспешный  
И доверяла мне сердечной склонности переживанье.  
Изогнута изящно аллея лиственниц и сосен  
Что в мареве закатном жарко багрянеет  
Устремлена к усадьбе, а над ней — отечества

водружен стяг.

\* (По копии, которую передал мне Y). (Прим. автора.)

\*\* недурно (франц.).

И чудилось, что череда стволов сплетает женское лицо  
С прозрачною горбинкой носа, лицу неведомой.  
Прозрачный тот изгиб, так долго для меня

насмешливый и колкий

Вдруг вспрыгнул, взвился, как проказник шут  
В क्रомешном мраке глубины душевной.

— Что за прелесть, поистине превосходно! — рассыпался в похвалах маститый критик. — Теперь я понимаю, для чего все эти «и» в последней строке! Отменно, отменно, вещь выглядит полнозвучной и, к счастью, отнюдь не надуманной.

Воздав должное поэту, он обратился ко мне:

— Теперь, сударь мой, вам самому нетрудно будет убедиться, что ваши подозрения были беспочвенными и, — последовала улыбка, — дерзкими. Заметили вы, как складно он переводил?

— Ничуть не бывало, — посетовал У. — Этот вольный перевод даже отдаленно не передает оригинала. В переводе стихотворение стало неузнаваемым. В таком виде оно теряет всякий смысл.

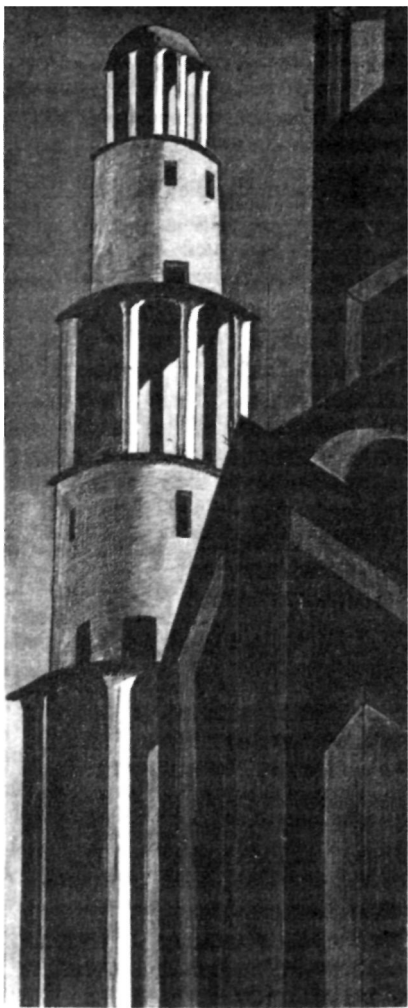
— Так что вопрос остается открытым, — подхватил я. — Чуть раньше я набрался смелости спросить господина критика, каковы критерии его оценок. Позволю себе повторить вопрос.

Маститый критик не мог более увилывать от ответа. Разговор надо было продолжать, что он и сделал, снова пытаясь обойти возникающие трудности.

— Сказать по правде, — начал он, — я, как совершенно справедливо было замечено, не вполне компетентен судить о данных стихотворениях, поэтому не думаю я и ни о каких критериях их оценки. Единственный, кто может считаться здесь компетентным, — это сам автор, поскольку он единственный, кто хорошо ли, плохо ли, но знает язык.

— Признаюсь, — вмешался я, — внутренне я предвидел такой поворот дела. Даже автор, как я уже говорил господину критику...

Но У, сидевший до сих пор молча (однако мне не раз



Башня. 1913.



казалось, что он что-то замышляет), решил направить разговор в другое русло:

— Не хочет ли господин критик сказать, что произведение искусства все равно останется таковым, даже если судить о нем сможет один-единственный человек, а именно сам автор?

— Совершенно верно.

— Значит, отныне в стихотворстве можно будет исходить не из идеи, а из звучания? — продолжал Y, и его можно было понять. — Соединять слова красивые и звучные или выразительные и загадочные, а потом наделять их смыслом или же просто смотреть, что из этого вышло?..

— Прошу прощения, я не очень улавливаю связь...

— Ну как же, ведь никто пока не запрещал располагать первые мелькнувшие в голове звуки в определенном ритме, а затем наполнять их несравненным по красоте значением. Так возникнет новый язык. И неважно, если этот язык окажется бедным и сведется к немногим предложениям (которые и составляют данное сочинение), ведь всегда будет тот, кто знает язык, — сам его создатель, и тот, кто сможет судить о сочинении, — сам его автор.

— Право, стоит ли впадать в крайности? По первой части рассуждений господина поэта я полностью с ним согласен, хотя замечу мельком, для меня это прозвучало не очень убедительно. Но по второй, помилуйте... я не советую господину поэту *s'emballer* \* столь опасным *Weltanschauung* \*\* и браться за такого рода *topics* \*\*\*. Лично я предпочитаю некое (или некий) *commonplace* \*\*\*\*. — Маститый критик превзошел самого себя.

— Прошу прощения, — возразил Y, — но для меня неважно, насколько убедительно звучит мое рассуждение. Важнее сейчас выяснить другое. Итак, господин критик утверждает, что согласен с первой частью?

\* Здесь: увлекаться (*франц.*).

\*\* мировоззрением (*нем.*).

\*\*\* темы, предметы обсуждения (*англ.*).

\*\*\*\* избитое, общепринятое выражение (*англ.*).

— Бесспорно, — протянул маститый критик. — Наш несведущий взгляд не должен проникать в потаенные глубины души художника. Бесспорно, художник волен соединять слова еще прежде, чем он наделил их значением. Более того, он волен ожидать, что эти слова или одно слово окрасят значением все сочинение и придадут ему общий смысл. Лишь бы это было... искусством. Вот цель. С другой стороны, господа не должны забывать: данные значения и смысл не являются чем-то непреложным. Стихотворное произведение, господа, может и не иметь никакого смысла. Оно должно лишь, повторяю, быть произведением искусства.

— В таком случае, — настаивал Y, — произведение искусства может и не иметь общепринятого смысла: сотканное из музыкальных отзвуков, оно будет навевать тысяче читателей тысячу несхожих ощущений. В конечном счете произведение искусства может быть и вовсе лишено смысла?

— Тысячу раз так, господин поэт!

— Но почему же тогда, черт побери, господин критик не хочет признать, что даже если эти звуки взяты из несуществующего языка, то из них также может родиться произведение искусства?

Маститый критик украдкой взглянул на часы и, видимо решив, что разговор уже затянулся, произнес:

— Что ж, если господину поэту так важно, я это признаю.

— Наконец-то! Вот это другой разговор! — улыбнулся Y. При этом мне показалось, будто в улыбке его мелькнуло нечто дьявольское. И действительно, совершенно неожиданно прибавил: — Впрочем, вот что: я отрекаюсь от смысла этих стихов и готов принести их господину критику, переписав красивым, разборчивым почерком с параллельной транскрипцией. Пусть он составит о них свое суждение, не принимая во внимание их смысл.

— Непременно, непременно... — растерянно забормотал маститый критик. — Разумеется, хотя... Зачем все же госпо-

дину поэту нужно отречься от их смысла? Только вдумайтесь: ведь если господин поэт откажется от своего намерения, путь к славе будет для него намного легче, ибо тогда он будет иметь дело лишь с одним человеком, способным судить о его гении, оценить и восславить его, — с самим собой. Поверьте, лучше иметь дело с одним, чем со многими. Поверьте мне... Господин поэт может не сомневаться: если ему удастся утвердиться в мысли, что он великий поэт, чего я ему и желаю, его слава будет столь же громкой и заслуженной, как у самого Шекспира. Господина поэта возвеличили бы все те, кто поймет его поэтический язык. И пусть волею судеб таковым оказался бы всего один-единственный человек, неважно: суть славы не в том, сколько ее, а в том, какова она...

Тон маститого критика был изысканно-шутлив, но чувствовалось, что его прошибал холодный пот.

— Я, пожалуй, уступлю доводам господина критика, — проронил наконец Y, и вновь я заметил ухмылку на его губах. — Так господин критик подтверждает, что по первому пункту он полностью со мной согласен?

— Ну да же, да, полностью, черт побери!

Маститый критик посмотрел на часы, теперь уже открыто, поднялся и произнес:

— Весьма сожалею, но по долгу службы вынужден откланяться: меня ждут в другом месте. Чтобы покончить с делом, которое привело ко мне уважаемых господ, скажу, что в продолжение нашей беседы мы выявили следующее: единственный полномочный судия означенных стихотворений есть сам их автор, господин Y, каковому я от души желаю мирно наслаждаться славой, неоспоримой и не затуманенной чьей-либо завистью или злым умыслом.

Видя, что опасность позади, маститый критик снова обрел прежнюю уверенность. Провожая нас до двери, он дружески похлопывал нас по плечам.

— Все же господин критик позволит мне время от времени заходить к нему? — спросил Y.

— Да, да, конечно. Как только появится желание...

Меня не вполне устраивал такой исход дела. Задержавшись на пороге, я начал было:

— Но искусство...

— Искусство? — мягко перебил маститый критик, слегка теряя терпение. — Что есть искусство, всем известно...

.....

Продолжение этой истории слишком печально, чтобы рассказывать о нем подробно. Читателю достаточно будет знать, что после этого визита у моего друга Y слегка помутился рассудок. Прошло много времени, но он настойчиво продолжает обивать пороги редакций. Повсюду он предлагает странные стихи без начала и конца и настаивает на их публикации, а заодно и на выплате гонорара. Его везде уже знают и без особых церемоний выставляют за дверь.

К маститому критику он больше не наведывается с того самого дня, как тот самолично, желая отделаться от навязчивого посетителя, вынужден был спустить его с лестницы или что-то в этом роде.

# Вор

Вор сидел в подвале уже два часа, и все это время кто-то неистово расхаживал над его головой. Под тяжестью шагов прогибались и сухо поскрипывали старые деревянные балки; с них то и дело сыпалась штукатурка. Что ж там за народ такой, спать они когда-нибудь ложатся или нет? Время от времени ночную тишину прерывали всплески чьей-то речи. Голос был то раздраженный, то издевательски насмешливый. Наступавшее затем долгое молчание внезапно сменялось залпами громкого, зловещего смеха, от которого кровь стыла в жилах.

Вор был совсем еще новичком в своем деле, и ему страсть как не хотелось попасть в заваруху. В этом старом доме он рассчитывал поживиться разве что мелкой утварью или, может, раздобыть что-нибудь из провизии: для хозяина, да тем более зажиточного, — сущий пустяк, зато ему, вору, и его небольшой семье это позволило бы некоторое время не думать о куске хлеба. Вот до чего он докатился на старости лет! По неопытности вор потратил целых два часа, чтобы понять: наверху был всего один человек. И при этом наверняка мужчина. Хорошо, а с кем же он тогда разговаривал, на кого сердился, отчего хохотал?

Как бы то ни было, эти бесконечные размеренные шаги начинали выводить его из себя. Долго еще, черт возьми, ему торчать здесь, скорчившись меж двух бочек, да к тому же в чужом доме? Вор, судя по всему, был человек застенчивый и добрый. Между тем голос неизвестного поистине наводил на него ужас. Один только хохот чего стоил! Все это становилось просто невыносимо. С твердым на-

мерением не приниматься за дело до тех пор, пока весь дом не погрузится в глубокий сон, вор все же решил обратиться на разведку и взглянуть, что там происходит. Помимо всего прочего, к этому его толкало какое-то странное боязливое любопытство, с которым он не в силах был совладать.

Дом он худо-бедно знал. Весь дрожа от страха, он выбрался из своего укрытия и по внутренней лестнице поднялся во двор. Сквозь стеклянную дверь чуть брезжил тусклый свет. Вор хотел было подойти ближе, но не успел и шагу ступить, как его обдало новой, гораздо более сильной, волной звуков. Впрочем, скорее всего это походило на чью-то яростную речь. Отсюда уже было слышно лучше: находившийся в комнате человек без умолку с кем-то говорил или спорил (в какой-то момент вору даже показалось, что он слышит и второй голос, звучавший тише и спокойнее первого). Тон речи резко менялся: он то взлетал высоко вверх, то, словно сорвавшись, падал вниз, глухое бормотание чередовалось с мерзким шипением, при этом говоривший был сильно возбужден. Спор то и дело прерывался взрывами саркастического смеха. Вся эта судорожная какофония звуков, без сомнения, исходила от первого и основного собеседника и среди ночи производила особенно жуткое впечатление. Наконец, набравшись смелости, вор, скрытый ночным мраком, подкрался к двери. Застекленная часть начиналась довольно высоко, поэтому, встав на четвереньки, можно было незаметно наблюдать за происходившим внутри. И вор решился.

В просторной кухне (а комната оказалась именно кухней) бледно-желтым светом мерцала пыльная лампочка. Очаг уже давно погас сам собой. Вдоль плит взад-вперед расхаживал мужчина, такой же седоволосый, как и сам вор. Но ужаснее всего было то, что ходил он, нелепо пригнувшись к земле, совершенно по-обезьяньи: руки болтались как плети, ноги были раскорячены и вывернуты носками наружу. Его взгляд, казавшийся мрачным из-под густых бровей, словно бы устремленный в никуда, несколько

раз скользнул по стеклянной двери, за которой притаился вор, но не остановился на нем. Не разгибаясь, человек продолжал ходить и говорил, говорил, говорил...

С ужасом вор начал понимать. Он поискал глазами второго собеседника и не нашел его. Наконец вора пронзила чудовищная догадка, повергшая его в полное смятение: человек говорил сам с собой, меняя голос, точно беседовал с кем-то еще. В тусклом омовении света он ходил по пустой кухне перед погасшим очагом и лихорадочно бормотал.

— Так что, приятель, — бубнил человек, — такое вот положение для тебя самое что ни на есть подходящее. Какие уж твои годы, дружище (продолжал он другим тоном), да и чего теперь ждать от жизни? Дом твой пуст, очаг погас, ты елозишь... вы, сударь, елозите здесь, как в собственной гробнице, словно мертвец в своей могиле, то есть еще живой — уже в могиле... к черту всю эту галиматью! (От злости он перешел на крик.) Умолкнуть, умолкнуть, умолкнуть навеки (напевал он, отчетливо произнося каждый слог). Но, видите ли, родственники, друзья, ваш сын... (добавил он, снова меняя тон). Вы, сударь мой, пользуетесь всеобщей любовью и уважением. Многие же вас попросту побаиваются, да, да, уверяю вас. А ваше богатство? Ну, если и не богатство, то по крайней мере достаток... кхе, кхе... Одним словом, обеспеченная старость, на случай и так далее. Что вы говорите, что ты говоришь? (Человек едва сдерживал ярость.) Родственники. Родственники... (бормотал он). Сын. Ах-ах-ах! (И он снова неожиданно разразился громким, леденящим душу смехом.) Где он, мой сын? Каким образом, вопрошаю я вас (он сказал именно вопрошаю), он позаботится обо мне, даже если сам того захочет? Побоятся, да, побоятся (протянул он на мотив одной непристойной студенческой песенки). Боятся, как тухлятины, парши или дохлятины! (ревел он что было мочи). Да здравствует поэзия, родная поэзия! (визжал он совсем как юродивый). И так и сяк (вдруг затараторил он без остановки), и так и сяк, туда-сюда, тарам-барам, и то и се, и вверх и вниз, бубу-бубу (при этом казалось,

что он напряженно размышлял); и опять: и так и сяк и так далее.

Человек продолжал повторять эти бессвязные слова и яростно мерил кухню шагами: взад-вперед, взад-вперед. А вор с трепетом наблюдал за ним сквозь дверное стекло. Сердце его сжималось от сострадания к этому человеку. Он уже и думать забыл, зачем вообще сюда пришел. Он позабыл о своей нищете и готов был помочь этому человеку, даже обнять его.

И тут вор то ли неловко повернулся, то ли слишком шумно вздохнул... Человек резко выпрямился, кинулся к двери и распахнул ее.

— Вот и псина моя приковыляла, — проворчал он. — Увы, всего лишь она.

Вор оказался застигнутым врасплох. Он по-прежнему стоял на четвереньках и, щурясь от света, взирал на хозяина.

— Ты, ты, — проговорил тот, слегка растерявшись, но без всякой злобы, скорее даже с грустью. — Тебе чего?

Вор не ответил и стал медленно подниматься.

— Так ты, поди, грабить меня пришел? — сообразил хозяин. В его вопросе звучала не ирония, а какая-то печальная радость. Скорбный взгляд хозяина был неотрывно устремлен на вора. Вор стоял неподвижно. В глазах блестели слезы, его била мелкая дрожь.

— Так заходи же, милый мой, — неожиданно произнес хозяин. — Заходи в мой дом. Ты беден? (продолжал он серьезным тоном). Твоей жене и детям нечего есть? Ну иди же. — И он увлек вора за руку внутрь.

Они стояли друг против друга при слабом свете лампочки и не отрываясь смотрели друг другу в глаза. Глаза хозяина тоже наполнились слезами, и он ласково улыбнулся. Затем один из них раскрыл объятия, а другой бросился в них без всякого стеснения. Хозяин и вор обнимались и рыдали, как дети. И казалось, эти слезы никогда не иссякнут: они все лились и лились, омывая их лица, утешая сердца.



# Провинциалки

Двор утопал в зелени. На клумбах выросли необычайно крупные лилии, но странное дело — увидеть их можно было только ночью. В первый вечер, объятые мраком, лилии стояли совершенно неподвижно и как-то боязливо-растерянно. Впрочем, уже в последующие ночи они достаточно освоились и даже начали распускаться. Лилии Святого Антония\*.

Вернувшись домой — увы, всего лишь на неделю-другую, — Карлино только и делал, что бродил по старым, кое-где покрывшимся плесенью комнатам. Он самозабвенно предавался воспоминаниям, которые навевала каждая попадавшаяся на глаза вещь. И все бродил, ослепленный радостью, в мире своего детства. Кроме него и пса, в доме никого не было. Поденщица — невысокая сухопарая крестьянка — хоть и приходила каждый день, но не больше чем на пару часов.

С самого утра и в продолжение дня Карлино громко распевал отрывки из опер. Единственным ценителем его таланта была собака, наблюдавшая из своего угла, как хозяин останавливался на пороге комнаты и, придав лицу соответствующее выражение, протяжно запевал. «У тебя они будут с заре-о-ю», — к примеру, выводил он, натягивая рубашку; при этом Карлино с чувством вздымал брови, а собака в такт повиливала хвостом. Затем он потягивался так, что хрустели суставы, и вдыхал терпкий деревенский воздух. С наступлением сумерек, когда пред-

\* День Святого Антония отмечается 13 июня. Обычно святой изображается с лилиями — символом чистоты и невинности.

меты наконец обретают подобающие им очертания и размеры (уже не разросшиеся в сиянии дневного света и не размытые пока светом ночным), Карлино подолгу засиживался на ступеньках парадной лестницы, обхватив руками колени, весь во власти царящего вокруг безмолвия.

Для полного счастья не доставало только ощущения беспечности — добродетель она или порок, кто знает. Может, виною тому годы жизни в городе или прожитые годы вообще? Иногда в глубине души у Карлино просыпалось чувство горечи.

Так протекали дни. Однажды, прохаживаясь в очередной раз по дому, Карлино обнаружил в одном из сундуков старые театральные костюмы. Это были платья без подкладки, сшитые по моде шестнадцатого века. Крупные стежки с испода говорили о том, что шилась одежда наспех. Она источала непривычный запах бархата, атласа, золотой вышивки и, пожалуй, нафталина.

Была у этих костюмов одна особенность: все они застегивались сзади, соответственно дамскими или мужскими застежками, поэтому без посторонней помощи надеть их было невозможно. Карлино извлек из сундука штаны, затем камзол лилового бархата, какие носили в шестнадцатом веке. Часто они доставались ему, Карлино, в те далекие времена, когда в большой зале устраивались спектакли. Вместе с Карлино в спектаклях участвовала жившая в доме молодежь. Интересно, какой стала теперь его кузина, неизменно помогавшая Карлино застегивать лиловый камзол? А вот и ее всегдашний наряд: платье лилеяного атласа с мягким золотистым переливом. Оно доходило кузине до самых пят и даже слегка волочилось шлейфом по полу. Только она и могла его надевать: ведь для этого нужно было иметь поистине осиную талию. Над талией неожиданной выпуклостью вздымалась грудь, обыкновенно едва заметная. Тогда ей было лет пятнадцать. У нее были изящные, тонкие руки; тело ее издавало дурманящие запахи. Лицо, обрамленное длинными волосами, иногда вдруг распускалось в лукавой улыбке. Кузину охватывала трепетная дрожь,

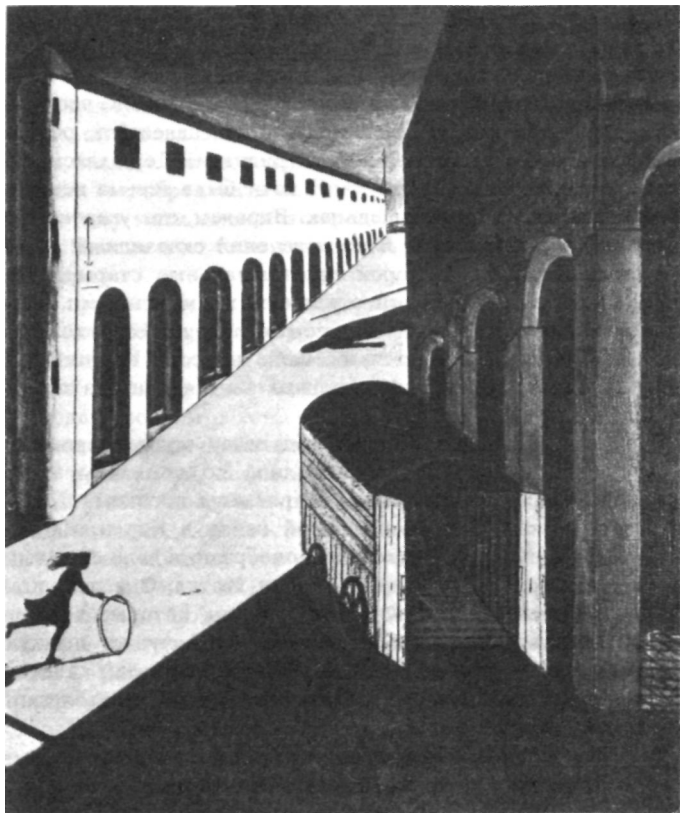
когда она целовала Карлино в обе щеки (что должна была делать по ходу пьесы). Ее губы бывали то холодными и влажными, то горячими и обжигающими.

Именно с ней Карлино и увиделся, когда после нескольких дней полного уединения решился навестить родню. Теперь это была женщина лет тридцати. Держалась она куда уверенней, чем когда-то. И хотя была весьма недурна собой, все еще ходила в девицах. Впрочем, эта уверенность была скорее напускной. В ее поведении сквозила та нарочитая развязность, которой провинциальные старые девы придают особое значение в отношениях с мужчинами. Карлино показалось, что она во всем командует старухой матерью. Кузина, разумеется, обещала нанести Карлино ответный визит, и чувствовалось, что явится она без провожатых.

Так оно и вышло. Как-то под вечер кузина приехала совершенно одна. Она долго ходила по комнатам и все вдыхала запахи жилья своим остреньким носиком. Конечно, она не тешила себя надеждой найти в Карлино будущего мужа. Но уже в том, как она разгуливала по дому, ощущались железная воля и твердая хватка. Она походила на тех истомленных ожиданием женщин, которые хладнокровно обдумывают свое падение и, предвкушая пылкую развязку, со строгим пристрастием осматривают альков. По ее поведению было ясно, что она готова стать легкой и верной добычей.

— Послушай, — обратилась она по прошествии нескольких дней. От прежней напыщенности и скованности не осталось и следа. — Послушай, а помнишь наши театральные костюмы? Мне бы хотелось... не знаю, как тебе сказать, да и согласишься ли ты. В общем, что, если, пока мы здесь, вдвоем, попробовать нарядиться, как тогда? Ведь ты сделаешь это для меня, милый, правда?

Но теперь костюмы никак не хотели сходиться на их взрослых талиях. Карлино вынужден был отказаться от попыток застегнуть камзол, хотя руки кузины помогали ему с былой ловкостью. В этом куценьком камзольчике



Тайна и грусть улицы. 1914.

он выглядел смешно. Зато кузина продолжала упорствовать и стягивала, стягивала платье до тех пор, пока оно не затрещало по бокам; грудь непомерно вздулась над декольте, но кузина все же втиснулась в свое прежнее платье. Тотчас вся кровь прилила к ее голове, и не один день ходила она затем по дому с ярко-пунцовым лицом. Глаза ее готовы были брызнуть из орбит, а тело неудержимо расползлось над бессильным пояском, перехватившим в талии короткое, до колен, платьице из лилейного атласа. Тем не менее кузина, казалось, ничего этого не замечала. Она пылала, объятая вечным пламенем, прелестная в своем беспамятстве, и все что-то бормотала, словно в бреду. Ее возбуждение росло день ото дня.

— Ну погоди же, старая ведьма! — грозила она матери, стуча от злости зубами.

Когда Карлино пытался как-то смягчить и успокоить кузину, а главное — убедить ее оставить эту затею с переодеванием, она отвечала:

— Любовь моя, неужели ты не понимаешь, что не сегодня-завтра все это кончится? Ты уедешь, скоро уедешь, даже не повидавшись со мной на прощание!

Она оказалась права. В ее отсутствие Карлино то и дело ворчал, останавливаясь, по обыкновению, на пороге.

— Говорил я тебе, что эта жизнь не для меня! — жаловался он псу. Наконец однажды утром он уехал, так ни с кем и не простившись.

Кузина вновь стала командовать матерью и привезла ее с собой в дом Карлино.

— Перед тем как закрыть дом, нужно все привести в порядок, — изрекла она тоном, не допускавшим возражений.

— А это куда? — спросила мать, заметив на оттоманке два старинных костюма.

— Это? На чердак!

Там, на длинной скамье, костюмы пролежали очень долго: никто о них больше не вспомнил. Первой костюмы обнаружила мышка и проложила себе дорожку. За ней

последовали и мышата. Затем настал черед целого полчища червей. Так мало-помалу, окончательно изъеденные, костюмы прекратили свое существование. Теперь их покрывала только пыль. И все же, брошенные небрежной рукой на лавку, они еще сохраняли былую форму, как сохраняют ее сюртуки в гробах при эксгумации останков умершего. Достаточно малейшего прикосновения — и они исчезнут безвозвратно, превратившись в горстку пыли.

Однако полагать, что такова судьба всех старинных платьев, было бы вредно да и неразумно. И если для этих двух была уготована столь печальная участь, то остальные платья остались лежать в сундуке. Оттуда их доставали новые поколения женщин — будь то девицы, зрелые женщины или увядшие старухи, неважно, — чтобы нарядиться в них и, преобразившись, покрасоваться, наполняя свои наряды блеском вечно новой жизни. А вокруг этих созданий, для которых детство не проходит никогда, вокруг этих бессмертных созданий во время их вольных игр, конечно, заводилась всегдашняя круговерть и выписывались причудливые фестоны, но уже не кобелями в человеческом облике, с тлеющей грустью во взгляде, а каким-нибудь щенком из тех, что сотрясаются в лае всем телом, заливаясь на весь дом пронзительным тявканьем, совершенно, впрочем, не соответствующим их крошечным размерам.

## Свадебная ночь

Под конец свадебного ужина доложили о приходе трубочиста. Отец, по натуре большой весельчак, подумал, что будет славно, если такое ритуальное действие, как прочистка дымохода, состоится именно в этот день. Он распорядился впустить трубочиста, но тот предпочел остаться на кухне, где находился большой очаг. Гости неодобрительно отнеслись к вынужденному перерыву, так как не все еще тосты были произнесены. Однако дети подняли такой неопикуемый гвалт, что всем ничего другого не оставалось, как подняться со своих мест.

Невеста ни разу еще не видела настоящего трубочиста. Обычно, когда тот приходил, она бывала в колледже. Войдя в кухню, она застала там высокого, плотного, слегка сутулого человека в вельветовом костюме цвета топленого масла, с окладистой седой бородой. Сутулость его уравновешивалась тяжеленными горными башмаками, казалось, будто благодаря им все тело удерживалось в вертикальном положении. И хотя по такому случаю трубочист тщательно умылся, лицо его, точно посыпанное молотым перцем, было испещрено множеством черных точек. Чернота скопилась и меж складок на лбу и щеках, придавая лицу глубокомысленное выражение. Однако эта глубокомысленность мгновенно исчезла и сменилась застенчивостью, как только на губах появилась робкая улыбка.

Он чуть ли не враспloch застал невесту, стоявшую за дверью. Столкнувшись с ней лицом к лицу, он страшно смутился, будто его самого застали враспloch за непристойным занятием и теперь ему предстояло объяснять, как он

вообще сюда попал. Он что-то забормотал, обращаясь к невесте, но она то ли не поняла, то ли не расслышала его. Трубочист упрямо продолжал мямлить свое, давая понять, что все это имеет к ней непосредственное отношение. Взгляд его был пронизывающим и одновременно многозначительным. Невеста сразу догадалась, что перед ней, в сущности, дождевой червь.

Он снял пиджак и принялся расстегивать жилет. Она выскользнула через вторую дверь и остановилась, прислушиваясь. У нее было такое чувство, что все идет совсем не так, как должно. Невесте казалось, что ее присутствие придаст всему ритуалу больше значительности, хотя, с другой стороны, ей было просто стыдно за трубочиста. Из кухни между тем не долетало ни звука. Тогда она решила вернуться. Детей уже увели, и трубочист остался один. Как раз в этот момент он собирался подняться по лестнице, установленной внутри дымохода. Он стоял босиком, в темной одежде, нижняя часть лица была плотно закрыта повязкой, а на груди висело какое-то приспособление, напоминающее скребок для квашни; как им пользоваться, невеста так никогда и не узнала. Он начал медленно взбираться по лестнице. Но как он вошел в жерло очага, она уже не видела, так как опрометью бросилась вон из кухни.

Когда она снова вернулась, кухня была пуста и только странный, отвратительный запах тлена стоял там. Оглядевшись, невеста подумала было, что запах исходит от башмаков трубочиста, оставленных в углу подле узелка с одеждой. Но это был запах сажи. Сажа отваливалась целыми кусками и падала вниз, на дно очага, в такт глухому скрежету, как будто кто-то вгрызлся в самую сердцевину дома. Невеста почувствовала, как этот скрежет отзывается внутри ее тела. Иногда звуки затихали, и тогда в дымоходе слышалась глухая возня. Невеста сообразила, что это трубочист продолжает свое нелегкое восхождение.

Но вот воцарилась полная тишина. Девушка замерла в мучительном ожидании. Не отрываясь, она смотрела в жер-



ло дымохода, в глубь черной воронки. Жерло имело форму не квадрата, а узкой темной расщелины.

И тут раздался пронзительный, истощный, нечеловеческий крик. Она задрожала, не понимая, откуда он исходит: от стен, от фундамента, от кухонной утвари или от нее самой. На самом деле этот предсмертный, животный рев был радостным возгласом трубочиста: он выбрался на крышу! Возня в дымоходе усилилась. Наконец из расщелины показалась черная нога, искавшая опору, — нога повешенного. Еще немного — и трубочисту удалось нащупать нижнюю перекладину лестницы. В тот же миг невеста вылетела из кухни.

Во дворе она уселась на жернов и, отдышавшись, кликнула старую экономку. Экономка была женщиной простой и впечатлительной. Невеста полностью ей доверяла и велела сообщать все, что творится на кухне. Экономка с таинственным видом сновала между кухней и двором, доставляя новости:

— Начал приводить себя в порядок. Прямо под дымоходной трубой.

Невеста представила, как он стряхивает копоть, стоя на куче золы, словно могильщик на холмике земли.

— А что же он надевает на ноги, чтобы цепляться за стену? — Она велела экономке немедленно выяснить это.

— Мил человек, какая ж у тебя обувка, что ты так ловко по стенке лазаешь?

В ответ он что-то такое сострил, но старуха толком ничего не разобрала.

— Сел перекусить, — доложила она — и бегом обратно на кухню. Вскоре она снова показалась с крохотным букетиком эдельвейсов в руках. Это, мол, подарок трубочиста ей на свадьбу, объяснила экономка, протягивая цветы невесте.

Немного погодя появился и сам трубочист. Он уже переоделся. Через плечо у него была перекинута сумка. Отец невесты приветливо заговорил с трубочистом и стал расспрашивать о его жизни. В тусклых лучах заходящего

зимнего солнца, еще сильнее оттенявшего лицо трубочиста, его прищуренные от света глаза и вымазанную сажей бороду, он представлялся то ли фантастической бабочкой, то ли ночной птицей, застигнутой врасплох наступившим днем. Хотя скорее всего он походил на гигантского паука или таракана: ведь если смотреть в дымоходную трубу снизу вверх, то она оказывается вовсе не такая непроглядно-черная и даже сочится пепельно-липким сиянием.

Трубочист рассказал, что вот уже тридцать пять лет промышляет в этих краях — все чистит и чистит дымоходы, что на будущий год возьмет с собой сына — пора и ему приучаться к ремеслу, что собирать эдельвейсы теперь запрещено и что этот букетик ему удалось нарвать тайком, и еще уйму прочих мелочей. Но сколько бы он ни лукавил и ни изворачивался, все понимали, что это были только слова, которыми он окутывал себя, точно каракатица, выпускающая защитное облачко.

Он знал всех умерших родственников этой семьи, но его никто ни разу не видел!

И ей стало вдруг стыдно. Но не за него, а за себя.

Когда он ушел, она поставила крохотные эдельвейсы под портретами усопших предков.

# Тайный брак

— Насколько я вижу, сударь, вы не очень-то в этом разбираетесь. Да, эти владения передаются по наследству, ну и что? Этого далеко не достаточно для того, чтобы они освобождались от арендной платы. Откройте хотя бы Вюрюбера — один из наиболее доступных источников по данному вопросу, — и вы убедитесь, что юридически аллод \* представляет собой в конечном счете то же, что и наш домен \*\*. Однако подати, которые...

— Можете не продолжать, сударь. Вы были абсолютно правы: я и впрямь в этом мало что смыслю. А ваше личное имущество?..

— Налогами не облагаются лишь ежегодные денежные суммы, выделяемые (как вы, очевидно, знаете) на мелкие расходы жене со стороны мужа, как при долгосрочной аренде, так и при аллодиальной, то есть родовой земельной собственности. А именно к разряду последней и относится, если я верно понял ваш вопрос, мое имущество. При этом на него распространяется положение о мировой власти (или опеке) — одно из древнейших установлений «Салической правды» \*\*\*. Сумма, выделяемая на мелкие расходы, сама по себе составляет статью так называемого правового имущества (или свободной собственности) и не может быть оспорена никакой гражданской властью, равно как не под-

\* Аллод — в раннефеодальный период — наследственно-семейная земельная собственность.

\*\* Господская часть феодального поместья, состоявшая из усадьбы с домом и хозяйственными постройками и из господской пахотной земли.

\*\*\* «Салическая правда» — судебное уложение во франкском государстве, составленное в VI—IX вв.

лежит чрезмерному налогообложению или сервитуту \* вследствие изменения юридического статуса владельца. В сущности, именно эти средства и составляют единственную пожизненную частную собственность, куда более незыблемую, чем сами королевские земельные права. Вот что на самом деле представляет собой мое имущество, сударь.

— Право, не знаю, что и сказать вам на это. Я, признаться, слегка ошеломлен таким ответом и не могу не выразить вам, сударь, своего восхищения.

— Заметьте к тому же, что аренда рогатого скота исполу, погонные выплаты и взносы за пользование пастбищем полностью исключены из механизма управления названным имуществом.

— Понимаю. Однако оставим этот каверзный (я хочу сказать «сложный») для меня вопрос. Не могли бы вы объяснить, почему, имея такие владения, вы все же не выглядите человеком богатым, каковым должны быть, а можете, и являетесь?

— Увы, от прежних владений сохранилась лишь малая часть, остальные угодья относятся к позднейшим прикупкам, в основном из земельных фондов Двора.

— Почему «прикупкам», а не просто «покупкам»?

— Как, разве вы не знаете историю Пажа ди Баличе?

— Я даже понятия не имею, кто это такой.

— Да будет вам известно, сударь, что, когда мой пращур Патрицио, граф д'Амбрифи и барон делла Стерца (мой второй титул) заключил союз с графом ди Каринола (ставшим впоследствии бароном), объявился в тех славных краях кондотьер по имени Пинто. Под его началом стояло тогда ни много ни мало семьсот всадников, выносливых и закаленных в схватках воинов. Пинто выступал на стороне Неаполя, и двое указанных мною синьоров сочли его весьма полезным для своего дела. Так Пинто обосновался со своими ратниками в замке д'Амбрифи (ныне разрушенном) и разделил с нами все невзгоды и радости. На первых порах этот союз принес много добрых плодов,

\* Сервитут — ограниченное право пользования имуществом.

несмотря на острую нехватку оружия и доспехов. Однако вскорости хитроумный пращур и его верный союзник Пинто сумели захватить Замок... (какой именно, уж и не скажу). Замок был опоясан глубоким рвом и занимал чрезвычайно удобную позицию, позволявшую полностью контролировать вход в Зеленую долину. Прежде Замок принадлежал знатному роду Фарнезе, затем он перешел во владения рода Франджипане. Позднее же Замок стал родовой вотчиной потомков графа д'Амбрифи. Это последнее обстоятельство окончательно вам все объясняет. Правда, спустя некоторое время сторонники рода д'Амбрифи потерпели неудачу в ходе восстания, вспыхнувшего на захваченных землях. Вся область (в особенности та ее часть, которая ныне лежит под руинами Замка... какого именно, уж и не скажу) превратилась тогда в арену кровавых стычек. Справедливости ради скажем, что союзники держались стойко. Вести об ужасных побоищах долетели до самого Карла (бывшего в то время правителем Неаполя), который повелел распрямить. Призвав ко двору сына Патрицио, Джованкарло, он даровал ему титул Паж ди Баличе, что соответствовало чину камергера. Синьоры графства д'Амбрифи долго и страстно добивались этого титула, считавшегося по тем временам одним из знаков особого монаршего благоволения. Обойденный и разорившийся, синьор ди Каринола расторг союз. Завоеванные владения (кроме Замка... какого именно, уж и не скажу) вновь отошли прежним владельцам, а в области кое-как были восстановлены спокойствие и порядок.

— И все же сказанное вами не объясняет пока...

— Представ перед блестящим неаполитанским двором и сменив ратные доспехи на парадные одежды, Паж ди Баличе беспечно предался увеселениям придворной жизни.

— Теперь понимаю. И сколько же ваш пращур пустил на ветер за все это время?

— О, не так много. Впрочем, по смерти родителя наследник довольно скоро вернул роду былые блеск и славу.

— Ну, а затем?

— Засим последовали новые разделы.

— А почему «засим», а не «затем»?

— Сударь, принимайте меня таким, какой я есть. Итак: засим последовали новые разделы. Последний произошел в конце прошлого века.

— И вы думаете, что, располагая, скажем, полумиллиардом лир, вы сумеете восстановить старинные владения и в целом возродить утерянное наследие?

— Положим, миллиардом. Но я вовсе не нуждаюсь в чьих-либо подачках.

— Что вы имеете в виду?

— То, что... Хотя это не так просто объяснить. Придется, наверное, открыть вам одну страшную семейную тайну.

— Что такое? Может, клад?

— И да и нет. Думайте все, что вам заблагорассудится. Придет время, и вы увидите, что обрести былое великолепие не составит для меня большого труда. Клад, вы говорите? Больше, гораздо больше, чем клад! Всякий раз, как отпрыск главной ветви нашего рода достигает совершеннолетия, глава рода передает ему эту семейную тайну. Кроме того, он раскрывает юному д'Амбрифи секрет его возможного будущего брака. Помните, я говорил вам об этом в прошлое наше свидание.

— Ах да, брак, как же, как же, припоминаю. Впрочем, продолжайте.

— Не знаю, право, как и начать. Помните, я рассказывал вам о левой руке?

— О, левая рука!

— Так вот, для отпрыска главной ветви существуют свои ограничения. Он может сочетаться правой рукой лишь с девицами из определенного круга. Всякая иная связь, точнее, супружество позволительно единственно на основе морганатического брака \*.

\* Морганатический брак — брак, не дающий прав наследования ни жене, ни детям, официально считался недействительным.

— Я ровным счетом ничего не понял!

— Еще бы! Для полного прояснения вам следовало бы обратиться к завещанию жестокосердной Коломбы делла Терра ди Соннино. В отдельных пунктах ее завещания на этот счет определены строгие правила поведения и установлен (о сумасбродство!) невиданный штраф в случае их несоблюдения.

— Какой еще штраф? Нельзя ли яснее?

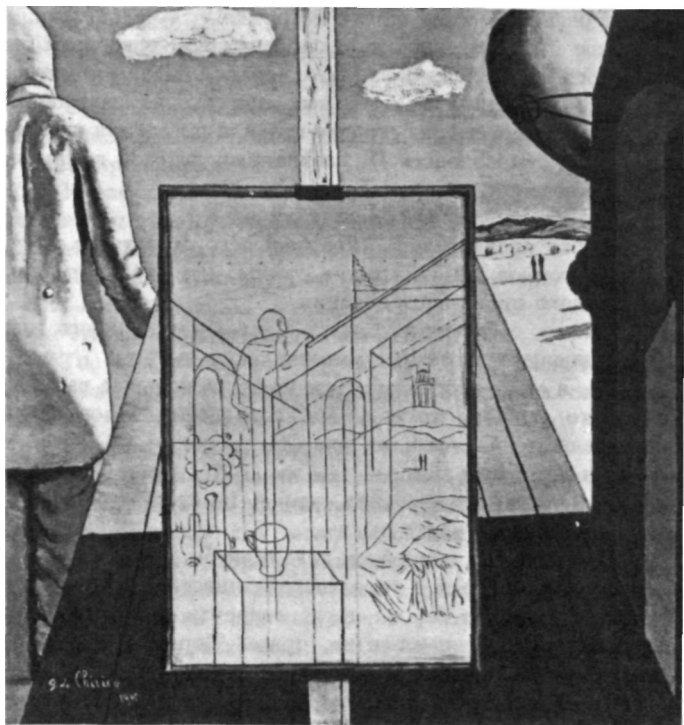
— Я уже предупреждал, что большего сказать не могу. В конце концов, за раскрытие тайны мне грозит потеря драгоценного права наследования.

— Какого, собственно, права? Чисто номинального или все же дающего известные материальные выгоды?

— Да, я могу рассчитывать и на материальные выгоды, но только условно, то есть при совпадении целого ряда обстоятельств, на которые, сказать по чести, я даже не вправе и намекнуть вам.

— Имейте в виду, сударь, что я по-прежнему весьма смутно улавливаю вашу мысль.

— Что ж, тогда попробуем так: если бы вам, к примеру, довелось породниться с королевской династией Сиама (или Таиланда), смогли бы вы тогда говорить о собственном, назовем его «потенциальным», праве? Впрочем, это лишь один из возможных примеров. Допустим далее, что вы состоите в родстве с представителем королевской семьи, стоявшей в прошлом у Сиамского (или Таиландского) престола. Но теперь права этой семьи полностью перешли к ныне правящей здесь династии (даже если прежнюю династию на всем белом свете представляет лишь один человек). При этом, как водится, у законного монарха или его престолонаследника имеется уйма всевозможных родственников, куда более близких к венценосцу, чем вы сами. И все они (или каждый из них, в соответствии с местом, занимаемым на генеалогическом древе) в нужный момент могли бы предъявить свои, гораздо более основательные, чем ваши, права. Тем не менее вы сохраняли бы за собой, пусть даже чисто теоретическое, право на



СНЫ. 1915.



Сиамский (или Таиландский) престол и ни за что не стали бы от него отказываться. Не правда ли?

— В известной степени, да. Но я без колебаний отказался бы от этого права, если бы на карту было поставлено мое счастье. А именно так и обстоит дело с вашим тайным браком.

— Видите ли, сударь, брак может быть и гласным, при условии, что невеста будет принадлежать к строго определенному кругу.

— Простите, но я более не в состоянии следить за ходом ваших мыслей и решительно не могу понять, о чем идет речь. Скажите, сударь, возможно ли каким-либо образом опротестовать завещание Коломбы ди Соннино?

— Делла Терра ди Соннино, сударь. Нет, никоим образом. То есть можно, но ни за какие блага мира я не стал бы оспаривать завещание моей пусть жестокосердной, но неизменно чтимой прародительницы.

— Еще вы давеча сказали «сумасбродство» (вот видите, и я заговорил на ваш манер)...

— Допустим, я так сказал, да и то в силу своей врожденной сдержанности. Постараюсь объяснить вам все обстоятельства этого дела, не касаясь наших семейных тайн. Так вот, в завещании Коломбы делла Терра ди Соннино действительно есть один уязвимый пункт.

— Какой же?

— Предусмотрительная старушка (пользовавшаяся услугами крупнейших юристов того времени) не учла в своем завещании лишь одного случая: непригодности к браку или, скажем, полной несостоятельности в этом смысле одного из ее прямых наследников. По мнению авторитетнейших адвокатов начала прошлого века, подобное лицо (я имею в виду только представителей прямой фамильной ветви) пользуется правом опротестовать завещание и получить полную свободу выбора в вопросе заключения брака. Помимо этого, за ним полностью признается право, о котором я упоминал выше. Таким обра-

зом, он безоговорочно освобождается от каких бы то ни было обязательств со своей стороны.

— Да, но что даст ему это условное право, если он все равно не в состоянии воспользоваться своей свободой? Что принесет ему такая свобода брачного выбора, коль скоро он изначально не способен на брак?

— Именно, именно, сударь мой, в этом-то вся суть! И хотя злокозненная старушонка на сей раз все же заевалась (*dormitavit* \*), она так или иначе оказалась в выигрыше. Вы прекрасно понимаете, в каком затруднительном положении я нахожусь. Ведь теперь завещание практически невозможно опротестовать. Предположим, я подам в суд и буду признан несостоятельным. В этом случае я уже не смогу вступить в брак, не нарушив тем самым судебного постановления. А это неминуемо приведет к тому, что меня лишат драгоценного права. Словом, процесс у старухи я бы выиграл. Но то была бы призрачная победа! Именно поэтому будет лучше оставить все как есть.

— Пойдите, пойдите, сударь. Это право столь важно для вас, что вы не можете полностью от него отказаться без ущерба для себя.

— А это как раз другой ключевой момент, в котором вам ни за что не разобраться, если вы еще не в курсе всех событий и фактов. В качестве примера я приводил вам правовой казус престолонаследия в Сиамской (или Таиландской) королевской династии. Так вот, в действительности мое право значит куда больше. Уж не знаю, как вам это объяснить: не то чтоб я мог отказаться от него по своей воле, нет, я не могу этого сделать ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, ни один суд не правомочен снять с меня (если так можно выразиться) это право. Это право... это чудовищное право является для меня одновременно и священным долгом, неотъемлемой частицей моего собственного естества. Ведь цветение для вишни — это тоже своего рода право, но вместе с тем это и долг ее, и приговор. Разве может вишня уклониться от своего

\* От лат. *dormitare* — дремать.

права, когда уж соком почки налиты и набухают с каждым днем бутоны нежные цветка в пылу грядущего соития с эфиром? О ужас! Сударь, вам не понять меня! Отказаться от этого права для меня все равно что распрощаться с самой жизнью. Что проку мне тогда от завоеванной свободы? Теперь же я оказываюсь в двойственном положении: с одной стороны, я не в состоянии заключить брак, с другой — продолжаю сохранять за собой это право. Это далеко не одно и то же, но сводится к одному. Неужели вы не понимаете?

— Что с вами, сударь? Вы совершенно бледны и чуть не плачете! Я, кажется, начинаю догадываться... Именем Всевышнего: ни слова больше! Оставим это дело как есть...

— Да, да, пусть оно так и остается. На некоторое время. А может, навсегда. Тем хуже для тех, кто мог подслушать весь наш разговор.

— Однако я хотел спросить вас, сударь: простите, вы сегодня ели что-нибудь?

— Нет, ни нынче, ни вчера, ни третьего дня. Вы догадались. Я не имею средств.

— В таком случае, не отобедать ли нам вместе где-нибудь поблизости?

— Благодарю вас, сударь. Не будем медлить, и да благословит вас Небо. Скажите только одно: надеюсь, вы все же поняли, почему я не могу жениться на благородной Леонции?

— О Леонция! Божественная Леонция... Так пойдете же!

(*Exeunt.*) \*

\* Выходят (*лат.*).

# Меч

Как-то вечером, перебирая всякий хлам, перешедший к нему по наследству от предков, Ренато ди Пескоджантурко-Лонджино обнаружил... Впрочем, вначале несколько слов о самих предках. Если не считать далеких предков-кестоносцев, все представители рода Пескоджантурко-Лонджино были, как говорится, людьми серьезными и основательными; каждый глава рода заботился о его процветании, всячески приумножая семейное добро. Блаженной памяти родитель Ренато представлял собой как бы связующее звено между стройной вереницей образцовых пращуров и собственным дитятей. Дитятея же, сколько ни старался, так ничего путного в жизни и не сделал. Был он страшно капризен, донельзя чувствителен, а главное — необыкновенно ленив. К тому же мот и недотепа.

Казалось, со смертью Ренато прервется и весь древний род, окончательно изживший себя и обреченный на неизбежное исчезновение. Весьма примечательно и то, что за короткий срок, всего за каких-то два поколения, от прежнего богатства Пескоджантурко-Лонджино осталось лишь далекое воспоминание. Так что теперь Ренато мог без преувеличения считать, что все его наследство состояло из многочисленного старинного хлама, скопившегося на чердаках родового замка. Помимо, разумеется, самого замка, в котором он теперь обитал, почти лишенный средств к существованию.

Итак, в тот вечер из пыльной груды старинного оружия, доспехов и конского снаряжения Ренато неожиданно извлек меч, которого раньше никогда не видел. Прежде

всего его внимание привлекли ножны, искусно выполненные из разноцветного бархата и висона и стянутые тонкими ремешками из дорогих кож. При свете канделябра на изысканных тканях слабо поблескивали потускневшие от времени чеканные бляхи, должно быть, золотые или серебряные. Судя по всему, вещь была действительно ценной и сразу заинтересовала Ренато: как знать, может, она сослужит ему добрую службу? Он решил отнести меч в свои покои и как следует его осмотреть.

С некоторых пор Ренато ощущал в душе странное волнение, скорее даже предчувствие, совершенно, впрочем, беспредметное, хотя и немало его тревожившее. Смутно он понимал, что настало время что-то предпринять, чтобы выйти наконец из тупика. Но помимо неясных угрызений совести Ренато часто испытывал непреодолимую внутреннюю дрожь, словно движимый провидением искатель сокровищ, который чувствует близость желанного клада. Ренато мнилось, что он стал обладателем несказанного богатства, хотя пока он еще не знал, что оно собой представляет и как им вообще можно воспользоваться. Теперь же, стоя со своей драгоценной находкой перед горящим камином, Ренато вновь ощутил, как знакомое чувство переполняет его с небывалой силой.

Едва с ножен была стерта пыль, они предстали перед Ренато именно такими, какими он ожидал их увидеть. Ничего не скажешь: славное оружие, сразу видно руку большого мастера! Бляхи, без сомнения, были из чистого золота. Эфес украшали изрядно потемневшие от долгого заточения изумруды и топазы. Однако Ренато почему-то не решался вынуть клинок: непонятный страх удерживал его. Наконец резким движением он рванул рукоять меча.

Свет осеннего солнца, рассекавший сквозь полуприкрытые ставни комнатные сумерки, его тонкие, как стрелы, лучи, вонзавшиеся в самые укромные уголки покоев, яркие языки ненароком взбудораженного пламени — все это было ничто в сравнении с ослепительным сверканием клинка! От невыносимого блеска Ренато невольно зажмурил глаза,

хотя в старинной зале царил всегдашний полумрак. Дело в том, что клинок, казалось, источал собственный слепящий свет. Безупречно отполированная поверхность клинка сохранила первозданную гладь. С первого взгляда можно было подумать, что он выкован из листового золота. Но где-то в глубине клинка таилась зловещая чернота (вовсе не затмевавшая его сияющей прозрачности), которая роднила загадочный материал скорее с топазом или редким восточным камнем. Сквозь полупрозрачное лезвие клинка Ренато мог различить извивавшиеся языки каминного пламени. Клинок был столь тонок, что казалось, у него вообще не было ни толщины, ни лезвия, ни ребер. Его, наверное, можно было согнуть и искорежить, если бы не таинственный способ закалки, сделавший его твердым и гибким, как и подобает всякому доброму стальному клинку.

«Черт побери!» — только и вырвалось у Ренато. Он поднес клинок к большому пальцу, чтобы проверить остроту лезвия. Лучше бы он этого никогда не делал! Кончик пальца вместе с ногтем тотчас отлетел прочь. Ренато даже почудилось, что он не ощутил ни малейшего нажима со стороны лезвия. Точнее, именно в этом-то все и заключалось. Лезвие клинка прошло сквозь подушечку и ноготь, будто не задев их вовсе и не причинив при этом никакой боли. Но стоило только Ренато спустя мгновение едва пошевелить рукой, как кончик пальца отвалился, и он почувствовал жгучую боль.

«Черт побери! — снова воскликнул Ренато. — Вот это клинок!»

Взяв отложенный было меч, Ренато решил испробовать его на чем-нибудь потверже. Он протянул меч к полену, один конец которого горел в камине, а другой лежал на тагане. Не успел меч коснуться полена, как тот послушно раскололся, обнажив необыкновенно четкий срез.

В этот момент клинок зарделся косыми бликами от каминного пламени. На его поверхности, точно в пылающем медном зеркале, неожиданно выступили когда-то выгравированные слова. Окутанные неуловимой дымкой, они появились как бы из недр клинка и выглядели совершенно

невесомыми, словно начертанные солнечной пылью на едва уловимом дуновении ветра.

Ренато прочел: «Я, Кавалер Кастальдо ди Пескоджантурко-Лонджино, Закалил сей меч, что Кладенца Орландова острее, Отныне врагов не будет у тебя». Слова были писаны старинным шрифтом и звучали как вирши.

Ренато охватило сильнейшее волнение. Он с силой опустил меч на один из каминных таганов, как бы не веря завету далекого предка. Не успел он и глазом моргнуть, как блестящий медный набалдашник покатился в огонь. Значит, меч с такой же легкостью разрезал и железо! Оставив обезглавленный таган, Ренато принялся разгуливать по старинной зале и сыпать удары направо и налево. Он потрясал своим новым оружием и сокрушенно восклицал:

— Горе мне, теперь передо мной нет преград! Несчастный, весь мир у твоих ног! Кто посмеет тебе противиться?

Куда бы ни направлял Ренато свой огненный меч, тот повсюду с легкостью прокладывал себе путь. Точно призрак, не знающий препятствий, проходил он сквозь пораженный предмет, не оставляя после себя ни малейших следов. И если косо разрубленный предмет все же сохранял равновесие и не разваливался, достаточно было легкого прикосновения, чтобы окончательно расщепить его надвое.

А Ренато все расхаживал по зале, не в силах остановиться. Он оставлял за собой одни обломки. Рухнули оземь, не сумев сохранить равновесия, два каменных бюста почтенных предков, стоявшие в нишах меж дверей; с шумом отвалились высоченные спинки от нескольких массивных стульев; громыхая, полетели на пол кованые пластины с четырех рыцарских доспехов; из овальной ниши в стене выступала мраморная женская рука — была отсечена и она; еще мгновение — и бессильно осели долу, прошептав что-то напоследок, старинные портьеры.

На шум примчался взбудораженный старик мажордом, единственный, кто еще приглядывал за порядком в замке. Ренато грозно рявкнул на старика, и тот с опаской попятился к двери, видя в руках хозяина сверкающий меч.

В ту ночь подле Ренато на старинном ложе с балдахинном покоился обнаженный клинок. «Вот она, моя планида. Нет, не зря мне на днях знак был, — размышлял Ренато. — Вот он, заветный клад, только руку протяни, да если бы раньше знать... Но теперь-то настал и мой долгожданный час. Этот меч нечувствительно проходит сквозь любое тело, рассекает любую преграду. С его помощью я совершу великие подвиги, какие точно, еще не знаю, но великие, да, великие». Ренато долго еще не мог заснуть: его ни на секунду не оставляла тревожная мысль о лежавшем рядом мече, который трепетно поблескивал в темноте.

Однако шли дни, а Ренато так и не мог найти достойного применения чудодейственному мечу. Неужели же, удивитесь вы, даже столь могущественное оружие может оказаться не у дел? Увы, бывает и такое. Кроме того, ни для кого не секрет, что чем достойнее оружие, тем величественнее цель, которой оно служит. Этот меч был оружием необычным и для обычного дела не годился.

Так в ожидании славных деяний Ренато пренебрегал делами помельче, пока наконец не стало и таковых. Оставшись ни с чем, Ренато вынужден был скрепя сердце признать, что биться не на живот, а на смерть ему особо и не с кем, а драконы и чудища давным-давно перевелись... Для чего же тогда вообще нужен был этот меч? Повторяю, все это покажется вам странным, но... попытайтесь сами найти применение такому мечу — и вы поймете, как это непросто. Но и это было еще не все. Вместо того чтобы защищать хозяина от врагов, меч сам превратился в личного врага Ренато (а позднее и в нечто гораздо большее!). В самом деле, то, что Ренато не мог воспользоваться мечом или не знал, как это сделать, вовсе не снимало с него ответственности за обладание им. Поистине мучительное чувство!

«Итак, — говорил он себе, — в моих руках чудесное оружие. Но я не знаю, на что его употребить».

Эта мысль окончательно лишила Ренато душевного покоя, его последнего зыбкого прибежища. Просыпаясь



ясным утром, Ренато иногда думал: «Сегодня я совершу нечто... нечто прекрасное!» Но утро сменялось днем, за днем наступал вечер, а благородное намерение так и оставалось неосуществленным. Уже Ренато не расставался с мечом и во время прогулок по окрестностям. По пути он отсекал девственно-невинные головки диких лилий, покачивавшихся при дуновении предвечернего ветерка (сколь точная картина будущей трагедии!). Уже для первой пробы сил он разрубил пополам двух своих коров, и во всем замке не сыскать было в целости рыцарских доспехов или статуи, у которой не были бы снесены голова, рука или плечо. Однако дальше этого фантазия Ренато не шла. Да, меч становился его врагом, и Ренато начал уже жалеть, что судьба уготовила ему такое наследство.

И вот однажды вечером в замке появилась сияющая белизной девушка. Была она неповторимой красоты: ее светлые кудри спадали на гибкий, как тростник, и стройный, как тополек, стан. Она была облачена в белое шелковое платье, доходившее до самого пола и перехваченное в талии широким поясом. Взгляд ее был робким и нежным.

— Чего тебе нужно? — буркнул Ренато, увидев ее на пороге.

— Я знаю, тебе не хочется меня видеть, — испуганно проронила она в ответ. — Но жить без тебя я уже не смогу. Недавно я это окончательно поняла. И я подумала: лучше тысячу раз умереть.

Ренато, почти никогда не расстававшийся со своим живым мечом, машинально схватил его с длинного дубового стола. Между ним и девушкой сверкнул пылающий клинок.

— Уходи, — скомандовал Ренато. — Убирайся, оставь меня в покое... Ну, ненавидишь меня?

— Никуда я не уйду, — проговорила девушка, не отступив ни на шаг. Лишь на мгновение сияние меча ослепило ее. Сквозь огонь клинка Ренато различал подернутый дымкой, чуть изогнутый облик девушки, похожий на отражение в колеблющейся водной глади.

— Теперь я уже не уйду ни за что на свете.

— Но я не хочу! Не хочу, чтобы меня любили! — затопал ногами Ренато, потрясая мечом. В это мгновение у него вдруг мелькнула мысль: «Может, это и есть тот долгожданный подвиг?»

— Возненавидь, — произнес он несколько мягче. — Возненавидь меня, слышишь? Разве солнце не заливает поля золотом своих лучей, а лесные птицы не выводят чудных трелей? Разве не слышать больше шепота опавшей листвы или переливов журчащего ручья? Разве вольный ветер не гуляет по горным стремнинам? Что тебе до меня и до моей затхлой берлоги?

— Солнце, — ответила девушка, — это пепел, поля — прах, а природа мрачна и безмолвна, Ренато, если рядом нет тебя.

— Советую тебе поостеречься! — крикнул Ренато. «Вот он, час великого подвига!» — думал он, охваченный странным дурманом.

— Мне нечего бояться, — с нежностью в голосе промолвила девушка.

То были ее последние слова. Ренато резко взметнул меч и с размаху опустил его на девушку. Клинок прошел через тонкий стан, не встретив ни малейшего сопротивления. Но девушка не упала. Не двигаясь, она пристально смотрела на своего убийцу нежным, улыбающимся взглядом. На фоне темных витражей белоснежное чело девушки, увенчанное далекими ночными звездами, сияло подобно утренней заре. На нем не видно было и следа ужасной раны. Но меч, который Ренато по-прежнему держал в руках, казалось, лишился в ее лилейном теле всего своего блеска. Величественное оружие в один миг потускнело и стало пепельного цвета. Теперь оно напоминало безликую головешку, жалкий, никчемный кусок металла! С самого Ренато вдруг спала пелена дурмана. Кровь разом отхлынула от его лица. Парализованный ужасом, он смотрел на девушку и не мог поверить в содеянное. Отбросив в сторону уже бесполезное оружие, он закричал:

— Боже! Что я наделал!

Тогда рассеченная надвое девушка захотела улыбнуться любимому и успокоить его. Этого оказалось достаточно. Ее лицо чуть треснуло и постепенно стало распадаться. Слабая, вначале едва заметная полоска крови прочертила линию от золотистых волос до шеи. Затем она побежала еще ниже, по груди и белоснежному шелку. Трещина все увеличивалась; из нее хлестала, слабо пенясь в волосах, кровь. Улыбка превратилась в чудовищную гримасу, двусмысленную, безобразную ухмылку. Хрупкое тело неустойчиво разваливалось. Девушка падала, рассеченная неумолимым мечом. В образовавшемся просвете поблескивали далекие ночные звезды. Еще мгновение — и беззащитное создание рухнуло оземь на глазах у своего убийцы. И только невинная кровь соединяла ее разрубленное тело.

Так славное, могущественное оружие, которое Ренато мог бы употребить на благое дело, вместо того чтобы принести ему счастье, уничтожило самое дорогое, что было у него на свете.

А что же меч? Неужели это потускневшее, но по-прежнему неотразимое оружие может понадобиться кому-то еще? Человек, унаследовавший его, зашвырнул меч на дно самой глубокой пропасти, чтобы избавить мир от его губительной власти. Но пришли иные люди или боги и извлекли его из бездны, чтобы отдать в руки других, ни в чем не повинных людей. И те несли его по своему земному пути, словно крест; и этому суждено быть на горе всем людям.

## Вечер в провинции

— Попробуйте мысленно перенестись (начал мой приятель свой рассказ) в самую глушь одной из наших провинций. Но только не в какой-нибудь сонный городишко, где тем не менее есть собственный клуб, по-тамошнему — «собрание», а скорее в заброшенное горное селенье. В одном из таких селений я жил в то время, да и родился я, кстати (добавил он с улыбкой), тоже там.

Можете ли вы представить себе, как проходит в таком вот местечке вечер, когда цвет тамошнего общества, включая самого муниципального секретаря и лекаря, собирается в своей общественной хибаре, чтобы вместе убить время и хоть как-то развеять тоску? Если нет, то, надеюсь, мой рассказ поможет вам хотя бы отчасти вообразить эту картину.

Надо сразу сказать, что той ночью бушевала страшная гроза. Уже несколько дней кряду не стихал ледяной северный ветер. Такой выдался ветрище — весь дом прямо ходуном ходил. Ставни в доме были подогнаны кое-как, и задувало, я вам доложу, во все щели. К тому же дом стоял на отшибе и в непогоду в нем ну просто спасу никакого не было. Ветер завывал и гудел в каминной трубе; ворвавшись в дом, он норовил добраться до самого укромного уголка. Помню еще, при каждом порыве ветра где-то в доме скрипела и бухала то ли ставня, то ли дверь: наверное, этого никто установить не мог.

В тот вечер собралось много парней, не говоря уже о стариках. Были и девушки, пылкие такие, знаете, пухляшечки, каких часто встретишь в наших краях. Среди

них я давно уже заметил одно хрупкое и нежное, как стебелек, создание. У нее были каштановые, с зеленоватым отблеском волосы, глубоко посаженные, печальные и в то же время живые глаза. Когда она говорила или смеялась, свет почему-то всегда оказывался у нее за спиной (такой, во всяком случае, я ее запомнил). Иногда мне чудилось, будто на ее губах золотистыми солнечными бликами искрился растаявший дневной луч. Ее пылкое, едва уловимое дыхание источало необычную смесь самых грубых и изысканных запахов. Многим казалось, что она пламенела в огне собственного сияния. Однако частенько по ее гладкому лбу пробегала задумчивая, мрачная тень. Она подолгу замыкалась в молчании, охваченная мучительным, загадочным раздумьем. Иной раз она подносила руку к слабой груди, точно желая унять вдруг заколотившееся сердце (взволновать ее не составляло большого труда). Она была совсем еще девочкой, лет, может быть, четырнадцати. Что до меня, то мне к тому времени едва исполнилось восемнадцать. Все эти описания могут показаться вам чересчур подробными и цветистыми, но уж вы не обессудьте. Короче говоря, эта молодая особа была мне очень дорога.

Мы перепробовали все известные и дозволенные тогда игры, такие, как «поговорки», «телеграф», «почта» и массу других. Помнится, в своей «почте» я обнаружил и ее записку, набросанную на полях оторванной газеты. Я даже могу воспроизвести записку по памяти. Там, значит, было так: «Красота и летнее увлечение мимолетны, и никакая благо-разумная девушка не станет доверяться столь хрупкой любви» (дело было в самом начале осени).

Я сказал «дозволенные игры», однако были еще и недозволенные. Впрочем, особого успеха не имели и они, так что скоро мы опять заскучали; но в молодости нас вечно одолевают разные фантазии. После очередной игры воцарилось молчание, и стало слышно, как жалобно завывает ветер. Тут кто-то из стариков предложил давнишнюю, полузабытую игру в убийцу и полицейского, такую старую, что ее свободно

можно было выдать за новую. Предложение вызвало всеобщий восторг и воодушевление.

Два слова о самой игре. Вначале тянули тайный жребий. Брался обычный лотерейный барабан, в нем тщательно перемешивались бумажки по числу играющих, каждый вытягивал свой листок и тайно от остальных заглядывал в него. Все бумажки пустые, кроме двух, на которых соответственно значилось: «убийца» и «полицейский». Иногда вместо «полицейский» писали «инспектор». Те, на кого падает жребий, начинают играть свою роль, стараясь скрыть это от остальных игроков и друг от друга. Гасится свет, и игра начинается. Участники молча разбредаются по темному дому. Наконец кто-то издает крик и валится на пол, ну, или на канаве, если человек пожилой. Это жертва, против которой убийца якобы применяет насилие и дает ей понять, что она считается «мертвецом». После этого зажигают свет, и теперь полицейский должен установить личность убийцы на основании показаний других играющих (кроме, разумеется, жертвы), а также тех косвенных улик, которые он сумел собрать, выслеживая убийцу-инкогнито в темноте. Кончается игра как обычно: если убийца раскрыт, он платит штраф, в противном случае платить придется полицейскому.

Согласитесь, в такой игре допустимы всевозможные комбинации. Объективно в ней только один минус: все играющие, будь то близкие друзья или просто знакомые, все время друг друга подозревают, и при этом совершенно необоснованно, как вы увидите в конце. Игра представляет гораздо больший интерес для тех, кто надеется обменяться в темноте беглым поцелуем.

Вот только рассказчик из меня получился, прямо скажем, никудышный. История моя уже подходит к концу, а я все еще плутаю в предисловии, так толком и не начав ее. В общем, рассказывать осталось совсем немного. На цыпочках я блуждал по просторной комнате (дабы лишить неизвестного полицейского всяческих улик), вытянув вперед руки в поисках какой-нибудь жертвы: роль убийцы досталась

именно мне. Неожиданно я почувствовал, как чьи-то руки судорожно обвились вокруг моей талии. Я мигом узнал их; потом две нежные, горячие губки коснулись моего рта. Я хотел было удержать ее, но она мгновенно выскользнула и растворилась в темноте, ласково что-то прошептав. Что, я так и не понял. Такое у нас было впервые. Мне и в голову не пришло «убить» именно ее; я, признаться, несколько ошалел от счастья и уже просто тыкался в разные стороны, позабыв о своей роли.

Между тем, против обыкновения, игра затягивалась. До меня смутно долетали приглушенный девичий смех и всевозможные скрипы, шорохи, вскрики. Чтобы привлечь внимание убийцы и заставить его наконец действовать, кто-то начал стучать по мебели, кто-то кашлял или нарочито громко прочищал горло.

Непроизвольно я двинулся на шум. Услышав шаги (а я уже перестал утруждать себя ходьбой на цыпочках) и не зная, какая мне досталась роль, играющие смолкли. Разом прекратилась всякая возня. Воцарилась полная, невыносимая тишина. Слышно было только, как гудел ветер и билась где-то ставня или дверь. Мое прежнее состояние души внезапно сменилось неопишуемым смятением. В этот момент с другого конца комнаты послышался громкий крик. И хотя голос был сильно искажен от боли, я узнал его. Почти в тот же миг зажегся свет.

Случалось, что шутки ради права убийцы присваивал себе кто-то, кому по жребию им быть не полагалось. Я решил, что и на этот раз случилось нечто подобное, и, возмущенный, направился туда, где лежало ее тело. Но еще не дойдя до этого места, я заметил на лицах тех, кто подбежал раньше меня, скорбное замешательство, полное ошеломление, а точнее, на их лицах застыло горестное выражение поруганной, преданной и пораженной в самое сердце невинности. В наступившей тишине было слышно, как кто-то тяжело дышал. Затем раздались крики.

Она лежала на спине, бледная как полотно, с закрытыми глазами. Рука безжизненно покоилась на груди, застыв

в привычном жесте. Во впадине под левой ключицей по самую рукоять торчал внушительных размеров кинжал или кортик. Рукоять отбрасывала слабую тень на окрашенные голубизной веки убитой. Когда нож был вынут, кровь потоком хлынула из раны.

Вот, пожалуй, и все. Убийцу, ясное дело, не нашли. И сам полицейский, и те, кто потом занимался этим происшествием, не смогли ничего установить. Да и кто из нас, из всех живущих на земле, мог быть заинтересован в смерти этого юного создания? Истинный убийца не оставил никаких следов или улик против себя.

У меня до сих пор хранится орудие убийства (прибавил он в конце, вытирая пот и впервые глядя нам прямо в глаза). Длинное, острое лезвие кинжала покрыто тонким дамасским узором. Рукоятка сделана, судя по всему, из рога с густо-зеленым и красным перламутровым отливом. Что? Лезвие? Ах да, лезвие... (по его лицу скользнула робкая улыбка). Оно сверкает безупречным стальным глянцем. Но почему и по сей день, спустя столько лет, капельки крови на нем все такие же огненно-красные?



## Разбойничья хроника

Das Rechtgefuehl aber machte ihn zum  
Raeuber und Moerder.

MICH. KOHLHAAS \*

По настоятельной просьбе одного заинтересованного лица изложу в нескольких словах все, что мне известно о судьбе Витторио. Факты моего рассказа основаны, с одной стороны, на устных преданиях (при этом наименее достоверные из них или же явно абсурдные я отбросил с самого начала), с другой — на свидетельствах людей, заслуживающих полного доверия. Кроме того, мне показалось излишним точно указывать место происшедших событий: тот, кто будет читать эти записки, или уже знает его, или без труда догадается, о каких краях идет речь.

Итак, в одно прекрасное утро на площади небольшого селения N. среди прочих гуляк появился Преисподня, бедный крестьянин с необщительным, застенчивым нравом. Жуткое же свое прозвище он получил по названию деревеньки, в которой родился. На нем был потрепанный бурбонский мундир, сохранившийся еще со времен службы в неаполитанской армии \*\*. С тех пор прошло уже лет десять, а то и больше, но денег на новую одежду он так и не скопил.

Как раз в это время по площади прогуливался в окружении представителей местных властей синьор Ла Марина, тамошний синдик \*\*\* (и отец Витторио). Едва завидев Преиспод-

\* Ибо чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу (нем.). Михаэль Кольхаас — герой одноименной новеллы немецкого писателя-романтика Генриха фон Клейста (1777—1811).

\*\* Неаполь, являясь частью Королевства Обеих Сицилий, находился под властью Бурбонов до освобождения его в 1860 году войсками Гарибальди.

\*\*\* Глава городского или общинного самоуправления.

ню, он обрушил на него целый поток всевозможных ругательств, грубо распекая беднягу за его вид.

— Выходит, тебе все равно, — яростно вопил Ла Марина, — что единая, независимая Италия существует уже не первый год?! — И на глазах у всех он дал Преисподне пощечину.

Конечно, немаловажную роль сыграло здесь и присутствие зрителей. Во всяком случае, куда большую, чем природный нрав Ла Марины, сказать по правде, весьма трусливый. А может, он надеялся искупить какой-нибудь свой грешок перед местными патриотами?

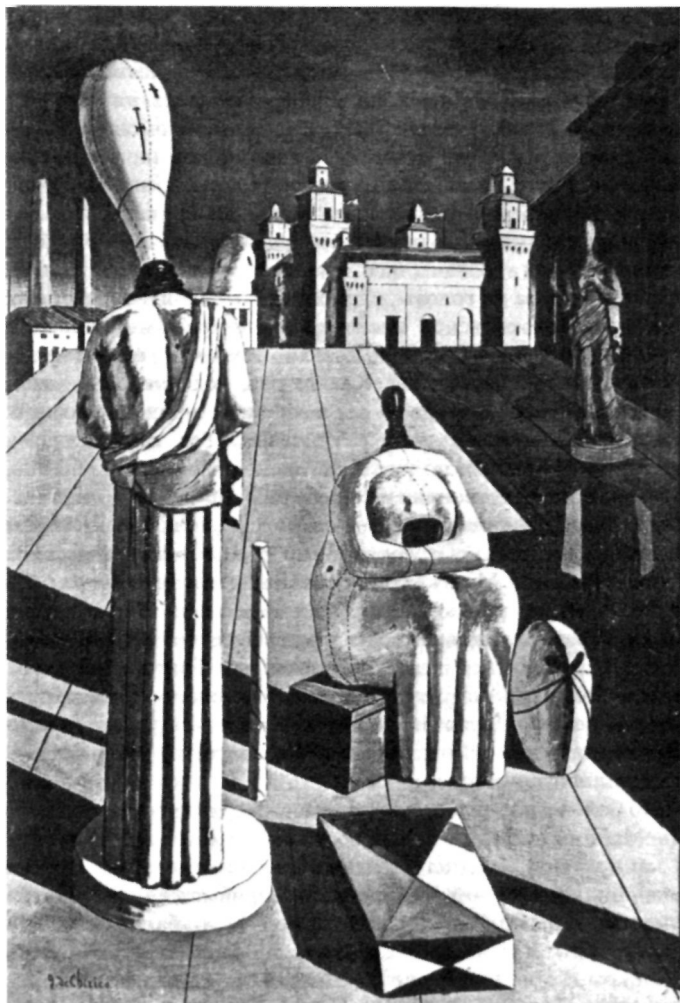
Преисподня не проронил ни слова. Вид у него был крайне понурый. Повернувшись, он отправился туда, откуда пришел. Больше его никто не видел.

Но вот спустя некоторое время в селении распространился слух, будто по всей округе орудует шайка свирепых разбойников. Слух этот не на шутку встревожил жителей N., так как до сих пор бог миловал эти края от происков всякого рода злодеев. За последние годы лишь двое-трое недовольных подались в разбойники. Однако действовали они, как правило, разрозненно, зверств никаких не чинили и особой опасности не представляли. Теперь же разбойник, наделенный небывалой дерзостью и хитроумием (каких только ужасов не рассказывали о нем в народе!), похоже, объединил дотоле разбросанные по округе шайки в единый чудовищный кулак. Кроме того, казалось, что атаман нацеливает свой отряд именно на N. Говаривали даже, будто и расположился он где-то в окрестных горах. Вскоре выяснилось, что грозным атаманом разбойников был не кто иной, как сам Преисподня — забитый крестьянин, которого раньше и всерьез-то не принимали. Преисподня, без сомнения, был из тех людей, в ком нечаянный и на первый взгляд пустячный случай вдруг пробуждает дремавшую до этого в бездействии врожденную мощь.

Прошло немного времени, и существование обитателей здешних мест стало совершенно невыносимым. Никто уже не мог ручаться ни за свое, ни за общественное имущество.

Да если бы только за имущество: сама жизнь людей находилась под постоянной угрозой. Во время своих дерзких налетов разбойники доходили до самых границ селения. Несколько раз они даже вторгались на его территорию. Тут уж наверняка не обошлось без помощи тайных сообщников из числа жителей. Разбойников ничем нельзя было запугать: они открыто насмеялись над мерами, принимаемыми против них местной управой, и над ее отчаянными просьбами о поддержке, обращенными к окружающим властям; они потешались над огромными суммами, обещанными за их головы, и продолжали грабить и разорять; они облагали сельское население непомерными налогами и убивали или зверски истязали тех, кто осмеливался оказать им сопротивление. Как-то раз, под покровом ночи, бандитам удалось выкрасть двух юношей, принадлежавших к весьма почтенным в N. семействам. Так вот, каждому из них они отрезали по уху и, согласно старинному обычаю, прислали их родственникам, требуя баснословных выкупов. Ради освобождения заложников родственники вынуждены были согласиться с требованиями разбойников, опасаясь самого худшего. Многие семьи стали постепенно разоряться. В N. царила мрачная атмосфера недоверия. Присутствие загадочных сообщников сделало свое дело: теперь люди боялись довериться даже собственному брату. Крестьяне не осмеливались выходить в поле, а путники — переступать пороги домов. Опустели окрестные нивы, скудные урожаи были отданы на откуп злодеям. Жизнь селян превратилась в сплошной кошмар.

Но больше всего доставалось, конечно, владениям и людям Ла Марины. Синдик лично возглавил (находясь при этом в арьергарде) несколько карательных операций против разбойников. В них участвовали прибывшие из центра специальные подразделения по борьбе с бандитами. Но то ли горы в этих местах были слишком круты, а леса слишком густы, то ли ущелья и перевалы слишком коварны, только успеха эти операции никакого не имели. К тому же числом разбойники намного превосходили своих преследова-



Тревожные музы. 1916.

телей. Лишь однажды загонщикам удалось выйти на главные силы противника, однако, оценив хорошенько занимаемые позиции и возможности сторон, они сочли уместным отступить. Вскоре одно обстоятельство еще больше ожесточило сердца разбойников, доведя всеобщее смятение до наивысшей точки.

Видя, что силой ему ничего не добиться, Ла Марина решил пойти на хитрость. В те времена, для того чтобы выйти к морю, необходимо было пройти через перевал. Место это было избрано шайкой Преисподни для всякого рода засад и нападений. Оказавшийся на перевале путник мог не сомневаться, что неминуемо будет остановлен и обчищен до нитки. Ну так вот, Ла Марина задумал послать на перевал своего человека, якобы сопровождающего к морю груз с продуктами. Продуктами, разумеется, отравленными. Правда, в последний момент господина синдика, к чести его будет сказано, стали мучить угрызения совести, и он рассказал обо всем приходскому священнику. Священник же, рассудив, что действуют они ради благой цели, отпустил ему заранее все грехи и благословил предприятие. Теперь Ла Марина мог без помех приниматься за осуществление намеченного плана. Из преданных своему роду людей он выбрал сносного погонщика мулов, нагрузил скотину головками сыра, называемого почему-то *лошадиным* — хотя по степени смертоносной приправы он способен был замертво свалить даже слона, — и отправил этот караван на перевал. Кто-то заметил было, что вполне достаточно будет одного мула и одной головки сыра. На это Ла Марина возразил, что столь малая добыча может и не прельстить разбойников. Кроме того, он надеялся, что лошадиного сыра отведают вся шайка, а не только один атаман (по заведенному обычаю, он первым получал свою долю).

Но не прошло и полдня, как погонщик вернулся обратно в N., весь оборванный, избитый, просто жалко смотреть. А груз как лежал на мулах, так и лежит себе никем не тронутый. Погонщик рассказал, что, едва завидев его, разбойники кинулись на него с криками:

— А вот и гостек пожаловал! Тебя-то мы и ждали!

И ну охаживать его дубинками. Отделали они погонщика за милую душу, а в конце прибавили:

— Теперь забирай свой ... сыр и вези его обратно к хозяину; да передай ему от нас, что, видит бог, скоро и он, и его выкормыши отведают такого же сырку! Тебя, олух царя небесного, мы на этот раз прощаем, и чтоб духу твоего здесь не было!

Сказав так, они повернули мулов и погонщика в сторону селения и под свист дубинок отправили караван в путь.

После этого случая стали подозревать в связи с разбойниками самого приходского священника. Разбойники же были доведены до крайней степени озлобления. Напряжение между главными противоборствующими сторонами возросло неимоверно. Теперь любого человека, связанного с Ла Мариной — арендатора, торговца или просто приятеля, — ожидала неминуемая смерть, если он попадал в руки Преисподни. Ограблениям и убийствам был потерян всякий счет. Реальной помощи ниоткуда не предвиделось. Население продолжало терпеть невзгоды. К сказанному, однако, следует добавить, что, оставаясь беспощадным по отношению к собственности господ и особенно энского синдика, Преисподня проявлял в каком-то смысле милосердие к бедным и обездоленным. Нередко он поступал по отношению к ним человечно и даже благородно. Хотя по сути своей разбойник все равно оставался разбойником.

Так обстояли дела, когда однажды ночью Ла Марине был нанесен визит, которого он никак не ожидал. К нему явился сам Преисподня. Это место нашей хроники покрыто мраком неизвестности. В том, что синдик впустил Преисподню в дом, нет ничего удивительного: в его палацетто постоянно находилась вооруженная охрана. К тому же Преисподня пришел один и без оружия. Но вот относительно состоявшегося между ними разговора предания не дают никаких мало-мальски приемлемых указаний; не проливают они свет и на то, что произошло затем.

Создается впечатление, что в доме своего смертельного

врага Преисподня вел себя с величайшим смирением. Вместе с тем он предупредил Ла Марину, что всякие действия против него лично повлекут за собой непоправимые последствия. Сказал, что шайка подошла той ночью к самому селению и ждет его в условленном месте, и поэтому, если в установленный час Преисподня не вернется к своим людям, разбойники ворвутся в палаццетто Ла Марины и учинят над ним скорую и жестокую расправу. Если же, напротив, синдик проявит достаточно благоразумия и соизволит выслушать его предложения (пусть даже потом он их отвергнет), то Преисподня дает слово увести своих парней без единого выстрела. А уж там — будь что будет.

Преисподня предлагал заключить мир. Он искренне раскаивался в содеянном и выражал надежду, что с существующим положением дел будет покончено. Атаман хотел прекратить вражду и забыть о том, что было. Он гарантировал прекращение любых враждебных действий со своей стороны и обращался теперь к синдикку с просьбой содействовать, насколько это было в его власти, немедленному отводу шайки в безопасное место. Там они будут ожидать перемен к лучшему, то есть того времени, когда страсти немного поулягутся и шайка постепенно начнет самораспускаться, возвращая обществу полноценных членов.

Но самое невероятное состояло в том, что для заключения этого, с позволения сказать, договора Ла Марина должен был представить некоторые гарантии. Люди Преисподни настаивали, в частности, на том, чтобы в горах, в установленном обеими сторонами месте, состоялся обед примирения. В обеде должен принять участие не только сам Ла Марина, но и вся его семья, включая женщин и детей вплоть до самого последнего отпрыска. Разумеется, без всякого оружия и сопровождения. Это, по их словам, явилось бы свидетельством честных намерений каждой из сторон. Причину столь внезапного смирения Преисподня объяснял своим искренним раскаянием и тем совершенно невыносимым положением, которое создалось в шайке в результате непрерывных ударов по ней.

К каким только угрозам или посулам, следует думать, не прибегал во время этого разговора Преисподня! Каких только чувств не старался он вызвать у этого, в сущности, слабого (но одновременно и осторожного) человека! Однако, как я уже говорил, по этому самому важному для нас пункту в известных мне хрониках нет ни слова. Вполне уместно предположить, что господин синдик не принял доводы собеседника за чистую монету. Скорее он склонен был считать невыносимым свое собственное положение. Впрочем, в итоге это ничего не меняло. Не исключено, что Ла Марина, натура весьма чувствительная, и впрямь был растроган подобного рода признанием. Возможно, что Преисподня сумел задеть в душе своего собеседника так называемые общественные струнки, к таким вещам Ла Марина (из честолюбия или из позерства, а в конечном счете от излишней чувствительности) был особенно восприимчив. Роль общественного благодетеля или спасителя родного края, при всем ее риске, явно льстила его самолюбию. Наконец, Ла Марину могла подвести его всегдашняя осмотрительность — в большинстве случаев дурная советчица. Так или иначе, предложение атамана, каким бы неслыханным оно ни казалось, сделал он его при любых других обстоятельствах, было принято. С обеих сторон были назначены эмиссары для уточнения деталей встречи. И вот в один прекрасный солнечный день все семейство энского синдика, включая женщин и детей, отправилось под предводительством самого Ла Марины в горы.

Обратно, как нетрудно себе представить, никто уже не вернулся. Место, где состоялся обед, и по сей день показывают тамошние крестьяне. Оно наверняка известно и лицу, для которого я пишу эти строки. Скажу лишь, что речь идет о небольшом плато. С одной стороны плато круто обрывается вниз. На дне ущелья пролегает почти пересохшее русло горной реки, сплошь усеянное огромными острыми камнями. Они и поныне там. Здесь разбойники встретили семейство Ла Марина. Поначалу прием проходил очень радушно, и разбойники вели себя с поистине ангельской кро-



тостью. Когда же несчастные гости досыта наелись и напились (в отяжке трагедии видна дьявольская утонченность замысла главаря шайки), их бесцеремонно оттеснили к краю обрыва. Сталкивали их, видимо, по одному, наслаждаясь сверху отчаянным падением каждой жертвы. Разбойники не пощадили никого: даже младенца вырвали они из рук матери и на ее глазах бросили в бездну. Крохотная жертва так мало весила, что зацепилась свивальником за выступ в скале, на котором рос куст вереска. В этом жалком положении, весь обезображенный и в крови, младенец попытался было захныкать, но через несколько мгновений испустил дух, подобно остальным своим сородичам.

— Пусть сгинет само название этого гнусного рода! — воскликнул Преисподня, когда все было кончено.

В тот весенний день жертвами страшной бойни стали двенадцать человек взрослых и детей. После этого разбойники как будто угомонились, а в скором времени и вовсе перестали о себе напоминать: то ли их все-таки истребили, то ли они сами разбрелись кто куда или повозвращались домой (в те времена правосудие не очень-то вникало во всякие тонкости). Утверждают, что сам Преисподня был убит в стычке с регулярными войсками, однако точных сведений на этот счет нет. Во всяком случае, в преданиях о нем не упоминается с того самого дня, как произошло это жуткое убийство в горах. Вот отсюда-то я и начну свой рассказ о судьбе Витторио.

Преисподне только казалось, что он истребил весь род Ла Марина. В действительности один отпрыск этой ветви был еще жив. Этим отпрыском и был Витторио. В день, когда произошла бойня, синдик оставил его дома на попечение старой няньки: у младенца была очередная детская хворь, и все боялись, что в горах его продует или что путешествие слишком его изнурит. Ла Марина всей душой уповал на то, что среди его многочисленного потомства отсутствие маленького Витторио — это тайное нарушение их уговора с Преисподней — пройдет незамеченным. К тому

же атаман мог и не знать о появлении на свет еще одного Ла Марины: Витторио родился буквально неделю-другую назад, а его старший брат, ставший, как вы помните, одной из жертв бойни, еще сосал материнскую грудь.

Так Витторио оказался сиротой и наследником солидного состояния. Воспитание его было беспорядочным. С детства мальчик ни в чем не знал отказа и, сказать по правде, вырос избалованным и своенравным. К тридцати годам Витторио слыл человеком наглым и задиристым. Жил Витторио в Неаполе и учился, по его словам, в местном университете. Как-то раз он отправился вместе со своими земляками в А., городишко, населенный, как говорили тогда (да и сейчас тоже говорят), одними уголовниками.

В А. товарищи провели весь день. Под вечер веселая братия решила поужинать в каком-нибудь трактире. И уж тут-то, надо думать, не обошлось без обильных возлияний. Во всяком случае, доподлинно известно, что, выходя из трактира, они затеяли спор из-за какого-то пустяка с двумя прохожими. Вроде бы один из прохожих случайно задел Витторио в потемках, вот он и завелся. Прохожий начал было извиняться, но Витторио не унимался и продолжал лезть на рожон: наглость он от отца унаследовал, а вот необходимую осторожность или, если хотите, робость — нет. Помимо этого, его подстегивало присутствие товарищей, да и дурная слава жителей А. не давала ему покоя. Прохожие поняли, что имеют дело с чужаками, и тоже ни за что не хотели ударить лицом в грязь. Правда, сколько могли, они все же сдерживались. Один из них даже мягко предложил не доводить дело до крайностей и тихо-мирно разойтись. Хладнокровие этих типов окончательно вывело из себя подвыпившего Витторио. Он потерял над собой всякий контроль, стал открыто задиаться и наконец добился своего: терпение у прохожих лопнуло.

Трагическая развязка произошла молниеносно. Неожиданно в руках прохожих блеснули два здоровенных ножа — по-местному, косыри, или п ы р я к и, — без которых тамошние жители вообще редко когда выходили на улицу в начале

этого века. Последовало мгновенное замешательство. Что в точности случилось, неизвестно. Друзья Витторио бросились бежать, увлекая за собой товарища. Тем не менее короткая стычка между Витторио (который запальчиво подался вперед чуть дальше остальных) и вооруженными прохожими, видимо, произошла. Какое-то время двое с оружием в руках преследовали удиравших друзей. Затем они, по всей вероятности, махнули на студентов рукой и прекратили погоню. Видя, что опасность миновала, приятели снова собрались вместе и даже зашли в трактир, чтобы перевести дух. Витторио оживленно обсуждал случившееся, уверяя товарищей, что, не утащи они его с собой, он показал бы этим бродягам почем фунт лиха. И наплевать, что у них ножи. Витторио был разгорячен после бега и сильно возбужден. С виду он чувствовал себя вполне нормально. Вся компания уселась за стол и приготовилась бражничать.

В этот момент кто-то из друзей вдруг заметил, что у Витторио распорот живот, а из разреза свисают кишки. В пылу недавней схватки юноша даже не почувствовал, что его ранили! Едва Витторио взглянул на свой живот, как страшно побледнел и потерял сознание. Вполне вероятно, что в этот же момент боль резко усилилась. Витторио оказали первую помощь, перевезли его в Неаполь, но через пару дней он все же умер: рана была гораздо серьезнее, чем это предполагали с самого начала.

Поиски убийц Витторио длились несколько месяцев и наконец увенчались успехом. Их нашли в А., на городском кладбище, где они обосновались в двух пустых погребальных нишах. Убийцы были примерно наказаны.

На этом кончается история несчастного рода Ла Марина. Спустя годы исполнилось проклятие Преисподни. Витторио не оставил после себя прямых наследников. Теперь имя Ла Марина никому ни о чем не говорит. Его еще можно услышать в рассказах стариков, но скоро о нем забудут навсегда.

# Из «Популярной мелотехники» \*

## Гл. MCMLVIII: О весе и плотности звуков

Вместе с тем далеко не каждому известно, что звуки человеческого голоса обладают весом и плотностью. В той или иной мере о них можно судить, если мы имеем дело с талантливым, одаренным певцом. В большинстве же случаев оценить эти свойства звуков невозможно или почти невозможно, за малым, повторяем, исключением, когда они проявляются весьма ярко, хотя порой не без риска для окружающих. С помощью специальных приборов установлено, например, что *до* малой октавы прославленного баса Маини \*\* весило около четырнадцати тонн. Вес звуков в теноровом и во всем женском певческом диапазоне значительно меньше: звуки среднего регистра тенора уровня Таманьо \*\*\* весили от трех до максимум семи тонн. Лишь однажды зна-

\* В мои намерения входило публично засвидетельствовать здесь свою искреннюю признательность Эудженио Монтале<sup>1</sup>, известному драматическому баритону (или басу кантанте, singing bass), который дал мне множество полезных советов и всячески поддерживал меня во время написания трех нижеследующих глав. Но по его личной просьбе вынужден отказаться от задуманного. Поистине необыкновенна скромность этого человека! Она столь велика, что Маэстро весьма сдержанно относится к своей громкой славе оперного певца и охотно поменял бы ее — признался он мне как-то сам — на гораздо менее шумную, на ниве отечественной словесности. Таковы слабости великих людей! (Следует все же знать, что Монтале — автор двух сборников стихов, не лишенных известных достоинств, хотя и далеких еще от совершенства, какового он достиг на оперной сцене.) *Прим. автора.* Монтале Эудженио (1896—1981) — известный итальянский поэт. Лауреат Нобелевской премии (1975). В юные годы обучался пению и музыке под руководством знаменитого итальянского баритона Эрнесто Сивори.

\*\* Маини Ормондо (1835—1906) — итальянский певец.

\*\*\* Таманьо Франческо (1851—1905) — итальянский оперный певец, драматический тенор.

менитая контральто Публинска \* достигла в отдельно взятой ноте десяти тонн. Вес звуков баритонального диапазона, как правило, средний. К счастью, звуки довольно пластичны, быстро размякают и рассеиваются. Однако в определенной позиции они способны сохранять часть первоначального веса и плотности даже на некотором расстоянии от певца. В отдельных, исключительных случаях звуки становятся тверже железа и представляют тогда настоящую опасность как для слушателей, так и для самих певцов. Именно по этой причине последние все время внимательно следят за тем, чтобы, во избежание пагубных последствий, звуки направлялись ввысь или поверх голов слушателей и партнеров. Каждый, кто бывал на оперных представлениях, может лично это засвидетельствовать. И все же, хотим мы этого или нет, долг обязывает нас упомянуть здесь о некоторых скорбных эпизодах, омрачающих историю оперной сцены, хотя следует заметить, что, ко всеобщему удовлетворению, в настоящее время их число значительно сократилось. Вот один, во всех отношениях показательный, случай.

Однажды, во время исполнения одной из опер Верди, тенор, чье имя мы из сочувствия к нему не назовем, пренебрег означенной мерой предосторожности и поразил баритона, вместе с которым исполнял дуэт, звуком в общем-то не очень высоким (всего лишь чистым *си*), но прозвучавшим в такой позиции, так точно и выдержанно, что уложил несчастного на месте. Зрители увидели, как бедняга баритон вдруг как-то весь обмяк и зашатался. Лишь несколько мгновений спустя зал понял, в чем дело: подобно острому лезвию, звук, изданный тенором, рассек партнера пополам! Заметим попутно, что только ноты, взятые верно, в соответствующей позиции и безупречно выдержанные (иначе говоря, идеально взятые ноты), могут обладать весом и плотностью, в то время как фальшивые ноты, независимо от силы звучания, полностью лишены веса. Итак,

\* Публинска — очевидно, вымышленное имя.

высшая степень мастерства нашего тенора стоила жизни его собрату по искусству!

Эта особенность человеческого голоса явилась причиной целого ряда комичных сцен, а также послужила поводом для нескольких оригинальных пари между певцами. Приведем два любопытных примера. Надеемся, что они будут оценены по достоинству. Во время исполнения оперы, на которой присутствовала эрцгерцогиня Ливонская (из прихоти она предпочла королевской ложе первый ряд кресел), известный бас неосмотрительно уронил взятую им ноту, вместо того чтобы, как полагается, направить ее подальше от себя и вверх. В тот же миг эрцгерцогиня возмущенно вскочила со своего места и покинула зал, выразив крайнее неудовольствие по поводу дурных манер итальянских певцов. Оказывается, нота упала ей прямо на ножки и, несмотря на то, что уже успела растерять почти весь свой вес, больно их отдала. Далее. Два тенора, обладавшие весьма мощными голосами, никак не могли поделить между собой пальму первенства. В один прекрасный день они бросили друг другу публичный вызов, заключавшийся в следующем: каждый должен был продемонстрировать в присутствии многочисленного собрания, на что способен его голос. Роль судьи в определении того, кому отдать предпочтение, отводилась слушателям. Состязание проходило в торжественной обстановке. Первому тенору удалось в течение нескольких десятков секунд удержать силой своего голоса (разумеется, головного регистра) целлулоидный шарик, из тех, что весело подпрыгивают на водяных струйках в публичных тирах. Но соперник не думал сдаваться. Не медля ни секунды, он продемонстрировал то, на что до него не решался ни один артист: тенор взобрался вверх по звуку собственного голоса, словно сказочный мальчик по стебельку фасоли. Более того, меняя силу звука и его модуляцию, певец несколько раз прошелся в воздухе туда и обратно: ни дать ни взять новейший Декартов чертенок! \* Решение собрав-

\* Поплавок в виде чертенка, изобретение французского философа и математика Рене Декарта (1596—1650).

шихся, понятно, не заставило себя долго ждать.

Отличительной чертой любого певца является умение посылать звук на порядочное расстояние, вырывая его, так сказать, с корнем из собственного нутра. Если эта операция удастся полностью, звук плавно ложится на аудиторию, точно легкая дымка тумана или прозрачные капли росы. Именно так оно и бывает во время выступления знаменитых певцов. В противном случае, опускаясь, звук давит на слушателя и вызывает у него характерное ощущение тяжести. Что касается никудышных певцов, то чаще всего им даже не удается полностью исторгнуть из себя взятую ноту, так что она как бы остается наполовину внутри самого певца. В результате мучаются и певец, и слушатели. Последние инстинктивно тянут звук к себе, словно освобождая от него несчастного, который, со своей стороны, может этому только радоваться и всячески способствовать: гримасничая, давясь и прочее (совершенно, впрочем, напрасно, так как звук или сразу выходит весь без остатка, или намертво застревает в гортани). Одним словом, тяжелые роды, да и только. Излишне добавлять, что подобные вокальные вечера оборачиваются для слушателей сущей пыткой.

В заключение вспомним, что одну из нот, взятых великим Карузо \*, поймал как-то раз на галерке один из его страстных почитателей. Это было до второй октавы, непонятно каким образом сохранившее плотность и форму, долетев до такой высоты. По свидетельству этого почитателя, державшего ноту в продолжение нескольких мгновений на ладони, она представляла собой нечто вроде сгустка белого вещества с опаловым отливом, едва ощутимого на вес и неумолимо быстро таявшего. Наш почитатель не в состоянии был удержать овеществленный звук: он ускользал, струясь меж пальцев, словно густой дым. В один миг звук бесследно растаял на глазах у изумленного почитателя. Следует, однако, заметить, что сгусток вероятнее всего составлял ядро самого звука, который к тому моменту уже ли-

\* Энрике Карузо (1873—1921) — итальянский певец, драматический тенор.

шился своих второстепенных элементов и полностью перестал резонировать.

## Гл. MCMLX: О цвете звуков

Многие люди не подозревают и о том, что звуки человеческого голоса имеют цвет. Он прежде всего зависит от высоты, силы и правильности ноты. Различить цвет звука возможно только при боковом освещении. Кроме того, необходимо, чтобы среда распространения была предварительно насыщена парами бария и натрия (в числовой последовательности ряда Фибоначчи) \*.

Как правило, звук представляет из себя белесое, слегка флюоресцирующее жидко-газообразное вещество, которое нельзя ни схватить, ни поместить в пробирку (что подтверждается примером, приведенным нами в конце предыдущей главы). Вместе с тем внешний облик звука может претерпевать существенные изменения в зависимости от тех его особенностей, на которые мы указали в начале настоящей главы. Так, высокие (головные) звуки обнаруживают непреодолимое тяготение к нежно-голубому, хотя в ряде случаев могут приобретать размыто-рдяный или бледно-зеленый оттенок. Гамма низких звуков среднего регистра все более сгущается по мере того, как мы опускаемся до грудного регистра, и обычно включает смесь традиционно живописных цветов: пушисто-сизого с голубоватым переливом, жжено-гуашевого или зеленовато-охряного с сухолистной прожелтью (так называют эти цвета художники). Иногда звуки нижнего регистра приобретают лоснящийся коричневатоперламутровый отлив. Впрочем, такой перепад цветов происходит лишь до определенной границы, после которой цветовая гамма вновь окрашивается в светлые тона. Сверхвысокие (или ультравысокие) звуки чаще всего предстают нашему взору настолько обесцвеченными, что буквально

\* Фибоначчи — псевдоним итальянского математика Леонардо Пизанского (1180—1240). В числовой последовательности Фибоначчи каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.



ослепляют своей белизной. Сверхнизкие (или инфранизкие) звуки хотя и выглядят светлее, чем низкие и даже высокие звуки среднего регистра, тем не менее постепенно обретают блекло-пепельную окраску очень низкой тональности с дымчатым налетом. В целом же следует сказать, что каждый цвет или оттенок непременно соответствует определенному звуковому диапазону певческого голоса.

В действительности многочисленные цветовые вариации объясняются прежде всего условиями, оговоренными нами в самом начале, а также качеством голоса. Голоса одного диапазона могут быть в большей или меньшей степени густыми (темного цвета). При сравнении двух теноров, или двух баритонов, или, положим, двух контральто оказывается, что в силу природных данных голос одного отличается по цвету от голоса другого. Те, к примеру, кому посчастливилось видеть голос знаменитого испанского лирического тенора Гайярре \*, уверяли, что более сказочного зрелища просто невозможно себе представить: розовато-палевый, воздушно-пыльно-ольховый, блестяще-лазоревого, но без приторного глянца, туманец цвета слоновой кости и легкая молочная испарина — таковы были, по мнению очевидцев, основные тона его звуков, которые уж ни один художник не сможет перенести на холст. *Фа* великого баса Де Анжелиса \*\* предстало однажды перед публикой почти сплошь густо-черным с редкими, уныло-подавленными островками огненно-пурпурного. Напротив, *фа* головного регистра непревзойденной сопрано Булычевой \*\*\* казалось раскаленным добела и таким пронзительно-ярким, что смотревшие вынуждены были заслонять глаза рукой.

Итак, чем вернее взята нота, тем выразительнее, ярче и чище цвет звука, независимо от его силы, которая, безусловно, влияет на природу или оттенок цвета, но никак

\* Гайярре Хулиан (1844—1890) — испанский певец.

\*\* Де Анжелис Наццарено (1881—1962) — итальянский оперный певец.

\*\*\* Под «непревзойденной сопрано Булычевой», очевидно, имеется в виду известная русская певица Ани́сья Александровна Булахова (1831—1920).



Натюрморт со скрипкой. 1920.

не на качество. Неверный звук, каким бы мощным он ни был, все равно остается блекло-понурым и (как говорят сами художники) шальным.

В объеме хроматической гаммы \* неверный звук может преподносить самые неожиданные сюрпризы. Причем это справедливо не только по отношению к собственно фальшивым звукам, но и к восходящим или нисходящим тоже. Исследователи, проводившие эксперименты с певцами, которые допускали фальшь, предоставили в наше распоряжение уникальные данные. Так, во время одного из сеансов, когда тенора вдруг повело на несколько тонов ниже, у экспериментаторов возникло впечатление, будто в зале одно за другим последовали несколько затмений: по-видимому, каждый нисходящий тон сопровождался различным по силе затмением. Во время другого сеанса переход на восходящие тона известной сопрано вызвал в зале короткие вспышки, похожие на зарницы. Наконец, после явно фальшивой ноты, взятой одним басом, зал, где проводилось испытание, погрузился в полную темноту. Так продолжалось несколько секунд, до тех пор, пока певец не решился-таки оборвать ноту, которая должна была длиться, покуда у него хватало дыхания. В момент же, когда тенор сфальшивил на высокой ноте, в воздухе бесшумно полыхнула молния, тотчас затем исчезнув.

В заключение этой главы упомянем о двух необычных явлениях, свидетелями которых стали многочисленные любители оперы. Как-то раз уже упомянутый нами бас Маини взял настолько низкую и долгую ноту (*соль* контроктавы), что зал в мгновение ока наполнился летучим веществом, напоминавшим туман или дым. Сначала вещество слегка сгустилось, но затем стало рассеиваться, пока не исчезло вовсе. В другом случае, после того как тенор Бончи \*\* издал высокий звук среднего регистра, через весь зал протянулась изумительная по красоте радуга. Ее основания находились где-то на уровне лож второго яруса. Постепенно цвета

\* Хроматическая гамма — движение звуков по полутонам.

\*\* Бончи Алессандро (1870—1940) — итальянский певец.

радуги меркли, тем не менее ее можно было наблюдать в течение трех минут, пока оркестр исполнял интермеццо, следовавшее сразу за арией (не будь эта нота последней в арии, возможно, следующие за ней звуки помешали бы воплотиться этому явлению). Хочется отметить, что оба приведенных случая произошли при значительном стечении публики, а также без предварительной обработки атмосферы, необходимой, как уже говорилось, для проявления фонохроматических эффектов. Приемлемого объяснения этим явлениям исследователи до сих пор так и не дали. Как бы то ни было, из вышесказанного следует, что в исключительных случаях и при условиях, до конца еще не выясненных наукой, визуальные явления подобного рода могут происходить и спонтанно. Об этом же говорят частные свидетельства поклонников оперного искусства, которые нередко испытывают во время представлений воздействие на психику и прочие странные ощущения. В этой связи уместно будет выдвинуть предположение: не является ли ощущение растерянности, подавленности и даже отчаяния следствием реакции организма именно на цветовое (хотя и не воспринимаемое сознанием), а не осязательное (изложенное нами в предыдущей главе) воздействие на него звуков?

#### Гл. MCMLXI: О других физических особенностях звуков

Звуки человеческого голоса имеют также более или менее определенные вкус (или привкус), запах, температуру, форму и, наконец, химический состав. В зависимости от условий распространения звука, судить о нем можно по тому, как звук воздействует на каждое из пяти основных органов чувств в отдельности или же на все вместе. К сожалению, изыскания в этом направлении, по загадочному небрежению ученых (в наше время, когда так бурно развиваются многие науки!), продвинулись весьма незначительно. Приведем здесь лишь некоторые, наиболее общие данные по этому вопросу.

На вкус звуки в большинстве случаев довольно горькие, особенно это относится к верхним звукам (грудного или головного регистров, звуки же среднего регистра отличаются сладковатым привкусом). Правда, иногда и верхние звуки становятся необъяснимым образом сладкими и даже приторными. Таково мнение самих певцов. Но и они не в состоянии дать нам более точных соответствий между звуками и вкусовыми ощущениями (считая, что определить их вообще невозможно). Не могут они и объяснить, почему звуки вдруг приобретают сладковатый привкус, тем более что позиция или высота звука здесь, видимо, ни при чем. Итак, не имея пока основательных научных данных, попробуем представить себе извлеченный из глубин организма звук. В качестве раздражителя он воздействует на наши вкусовые соочки и вызывает резкое ощущение горечи. Приблизительно то же ощущение вызывает у нас содержимое желудка во время рвоты. В самом деле, каждому знакомы рвотные позывы и гримасы, предвосхищающие, как правило, высвобождение звуков из организма. И в особенности высоких или очень низких звуков (то есть как раз самых горьких, так что лишь немногим певцам удается свыкнуться с этим ощущением горечи). С другой стороны, каждому из нас случалось видеть, как лирическое сопрано смакует на кончике языка звук, неожиданно оказавшийся сладким на вкус.

Говоря о тепловых свойствах звуков, следует отметить, что обычно звуки имеют очень высокую температуру. Но и здесь, по необъяснимым причинам, существуют свои аномалии. Один весьма добросовестный исследователь установил, что в отдельных случаях температура звука может понижаться до  $-180^{\circ}$  Цельсия, — вот уж поистине адский холод! Поклонники оперного искусства наверняка замечали, как обильно потеют певцы во время спектакля. Знакомо им и характерное ощущение холода, распространяющегося по залу при некоторых звуках. Природа этих тепловых явлений также еще неизвестна. Звуковое тепло содержит влагу и тем самым отличается от тепла, скажем, электро-

печи. Оно скорее напоминает удушливый летний зной, обволакивающий нас своим сальным жаром.

Обыкновенно звуки лишены запаха, но время от времени способны приобретать всевозможнейшие оттенки: от тончайших ароматов до нестерпимого зловония, в зависимости от своего химического состава, на котором мы сейчас остановимся. Известны случаи, когда присутствовавшие в зале чувствовали запах фиалки (чистое *ля* сопрано Тетрацинии \* — явный признак наличия вольфрама), бергамота (*ми-бемоль* меццо-сопрано Джек Джек \*\* — пары полевого шпата?), лилии (*фа-диез* баритона Баттистини \*\*\* — апатит), духов под названием *Cuir de Russie* \*\*\*\* (по мнению присутствовавших дам, верхнее *ре* тенора Лаури-Вольпи \*\*\*\*\* — корунд, плавиковый шпат или гелий) и т. д. Или же муравьиный (имя исполнителя уместнее не упоминать — муравьиная кислота), почечных секретов (аммиак), рыбы (углекислый газ и серная кислота), разлагающейся органической материи (стронций и другие элементы), «протухшей вареной цесарки» (?) — свидетельство одной довольно исторической дамочки (соединения гелия и радия?) и так далее.

Таким образом, мы как бы произвольно обозначили основные химические элементы звуков. Добавим, что все эти элементы встречаются в различных соединениях и меняющихся пропорциях. Как правило, у них общая основа из благородных металлов (золото, серебро, платина) и некоторых легких газов (водорода, гелия и др.) во всевозможных состояниях. Читателей, которые уже ознакомились с главой MCMLVIII настоящего тома, не удивит присутствие в звуках минералов. Вместе с тем механизм изменения основы на се-

\* Одна из известных оперных певиц, сестер Тетрацинии. Вероятно, более известная Луиза (1871—1940), колоратурное сопрано, а не Ева (1862—1938), драматическое сопрано.

\*\* Джек Джек — очевидно, вымышленное имя.

\*\*\* Баттистини Маттиа (1856—1928) — итальянский драматический баритон.

\*\*\*\* Юфть (*франц.*).

\*\*\*\*\* Лаури-Вольпи Джакомо (1892—1979) — итальянский оперный певец.

годняшний день остается еще нераскрытым. В целом же следует сказать, что среди известных науке элементов нет такого, который бы не мог входить в химический состав звука. Но в том-то все и заключается, — внимание, читатель! — что в звуках человеческого голоса присутствуют или могут присутствовать не только известные науке элементы. Новейшие исследования, проведенные молодым и в высшей степени одаренным ардзевейджанским ученым Онизаммотом Ифлодналом \*, неопровержимо свидетельствуют о присутствии в звуке двух доселе не известных специалистам элементов. Юный титан науки решил назвать свои элементы *Cinodium Oniflium* и *Ippodium O.* (сокращенно *Chf.* и *Cpf.*) и ревностно хранит тайну их свойств. Эти загадочные элементы навели нас на мысль, которой мы хотели бы поделиться с читателем. Надеемся, что читатель твердо ее усвоит: мы считаем, что на сегодняшний день всякая попытка воссоздать звук химическим путем обречена на неудачу. Искусственный звук пока еще нереален в том смысле, что недостаточно всего лишь исследовать и воспроизвести с помощью известных химических элементов звуки голоса великого Таманьо, чтобы добиться присущих ему чистоты мощи и неповторимости. Яркие оттенки голосовой модуляции, интонационная окрашенность звуков (которые лишь теоретически можно воспроизвести на основе упомянутых элементов) и многое другое обязательно ускользнули бы от дерзкого воссоздателя звуков и не прозвучали бы в его искусных слепках. На данный момент из сказанного можно заключить, что в пении, как в поэзии, да и в любом другом искусстве, неизменно присутствует элемент тайны.

И, наконец, коротко о форме звуков. В зависимости от среды распространения звуки способны принимать самые разнообразные геометрические формы. При этом большинство звуков продолжают сохранять весьма расплывчатую форму, а зачастую бывают аморфными. Среди основных форм звуков преобладают сферические, кубические,

\* Имя «знаменитого» ученого есть не что иное, как перевертыш от Томмазино (уменьшительно-ласкательное от Томмазо) Ландольфи.

многогранные и параллелепипедные. Но, как правило, повторяем, все эти формы внешне представляются сильно искаженными, удлиненными, заостренными, резкими или сглаженными.

Для тех, кого данный вопрос интересует особо, добавим в порядке уточнения, что звуки голоса выдающихся певцов почти всегда приобретают сферическую или коническую форму, меж тем как у посредственных вокалистов они чаще всего проявляются в виде неправильных пирамид, совершенно плоских фигур или разносторонних треугольников, покрытых мелкой, колючей щетиной, благодаря которой звуки отдаленно напоминают дикобразов.



## Новое о психике человека. Человек из Мангейма \*

Доклад д-ра Онизаммота Ифлоднала (Ардзебейджан) на заседании Королевской Академии наук.

Господа, настоящий доклад адресован прежде всего тем, кому хорошо известны факты, связанные с теперь уже знаменитыми Людьми из Эльберфельда. Наряду с этим я обращаюсь и к тем, чьи головы все еще забиты разного рода предрассудками, к тем, кто пренебрегает целенаправленной духовной деятельностью, сиречь мыслью и разумом — исключительным достоянием собачьего рода! (*Неодобрительный лай справа, ободряющее подвывание слева, центр никак не реагирует.*) Упомянутые Люди из Эльберфельда (не говоря уже о многих других, менее известных примерах) продемонстрировали поразительное умение производить сложнейшие расчеты с небывалой быстротой. Тем самым они представили либерально настроенным умам неоспоримые доказательства наличия у человека разума. Теперь, благодаря чуть ли не легендарному Человеку из Мангейма, к ним добавятся новые важные факты. Это лишний раз подтверждает правильность гениальной догадки, выдвинутой некоторыми светлыми умами. Смею надеяться, что сведения, которыми мы располагаем, помогут окончательно

\* Желая избавить будущих критиков хотя бы от одной из их многочисленных забот, а также по долгу чести, считаю нужным заранее предупредить, что эта шутка — по большей части парафраза известной книги Макензи («Новое о психике животных», часть вторая: «Собака из Мангейма», Формиджини, 1911). Лично мне принадлежат разве что некоторые выводы. (*Прим. автора.*) Мангейм — город в земле Баден-Вюртемберг, Германия.

рассеять мрак, веками окутывавший собачье сознание и тормозивший развитие науки. Оказываясь перед лицом очевидных фактов и явлений, мы упорно не желали их признавать, возможно, по религиозным причинам или из-за всегдашнего нашего высокомерия, впрочем, первое, пожалуй, вполне под стать второму. (*Негодующий визг.*) Развеять, повторяю я, ставшие привычными убогие теории превосходства собачьей цивилизации, открыть наконец новые горизонты науки — вот цель. Нет, господа, хотя это может и даже должно идти вразрез с некоторыми самыми низменными у нас настроениями, я все же полагаю, что могу представить неопровержимые доказательства того, что духовная жизнь не является исключительной и чудовищной привилегией собачьего рода. Нет, господа, подобно нам, люди тоже постигают, чувствуют, думают! По крайней мере некоторые из людей. Когда же мы пробудим умы от векового сна и утвердим общий принцип развития — кто сможет остановить науку на ее победоносном пути? Какие только дали не откроются тогда перед нами! (*Возгласы: Ближе к делу!*)

Да, да, к делу, господа. Прочие свои соображения по данному вопросу, а также критику многочисленных трудов по проблемам человеческой психики, недооценивающих самоочевидные ее проявления, я отложу на конец. (*Возгласы: Правильно, там им и место! Возмущенное шиканье представителей левого крыла.*) Не стану я останавливаться и на подробностях моего посещения Мангейма: желающие могут ознакомиться с ними по специальной брошюре, которую вы получите. Итак, перейду непосредственно к трем сеансам, проведенным мною с человеком. (*Возгласы: Шире шаг! Недовольное шиканье на левом крыле и в центре.*)

Однако в первую очередь необходимо высказать ряд предварительных замечаний. (*Возгласы: Снова-здорово! Яростный визг на левом крыле и по центру. Лай. Затем на какое-то время воцаряется полная тишина.*) Томми, или Том — так зовут Человека из Мангейма, — представляет собой великолепный экземпляр из породы эрдельтерьер-мэн, высотой порядка 1 метр 50 сантиметров до плеча, воз-

раст — около 32 лет. Его владелицей является благородная сука Мюллер из Мангейма. Несколько лет назад благородную суку разбил частичный паралич, поэтому времени для воспитания собственного человека у нее было предостаточно. Прежде всего изложу со слов самой владелицы те удивительные, с моей точки зрения, обстоятельства, которые позволили ей обнаружить необычайные способности Томми.

Однажды благородная сука Мюллер проводила со своими четырьмя щенятами обычный урок арифметики. Как водится, при этом присутствовал и Томми. В какой-то момент молоденькая сучка, вообще занимавшаяся в тот день без особого желания, запнулась на простеньком примере:  $122+2$ . Сколько ни усердствовала мать, у сучки ровным счетом ничего не выходило. Тогда в порядке наказания она получила легкий шлепок и, поскуливая, забилась в угол. Сжалившись, благородная сука стала ее успокаивать.

— Даже Томми, наверное, смог бы решить такой простой пример! — произнесла она под конец.

Услышав свое имя, Томми подходит к хозяйке.

— Ведь правда, Т о м м и , — продолжает та, обращаясь скорее к сучке, чем к человеку, — ведь правда, ты смог бы?

Том оживленно двигает передними лапами, трясет головой и покачивает верхней частью туловища в знак крайнего возбуждения. Он пристально смотрит на хозяйку; из его пасти вырываются звуки, отдаленно напоминающие обрывки слов.

— Держу п а р и , — настаивает благородная сука, уже всерьез заинтересовавшись поведением человека, — что ты скажешь мне, сколько будет  $2+2$ ?

И тут происходит нечто неслыханное: Том наклоняется к хозяйке и легонько ударяет ее передней лапой по спине четыре раза!

Воздержусь от комментариев, тем более что не могу лично поручиться за достоверность вышеизложенных фактов (впрочем, я достаточно хорошо изучил характер благородной суки Мюллер и думаю, что ей вполне можно доверять). Продолжу. Спустя некоторое время у благородной суки

возникло сильное подозрение, будто кто-то помогает ее щенятам решать задачки и готовиться к урокам географии. Однако она доподлинно знала, что, когда они делают уроки, никто из посторонних в их комнату не заходит. Тогда благородная сука решила проследить за щенятами, и вот что она обнаружила. Вместе с юными учениками, устроившись совсем как собака, сидел Томми. Заметив благородную суку, щенята грубо оттолкнули человека.

При этом они зашикали на него, полагая, что их не слышат:

— Пошел, Томми, пошел, мама идет.

Вид у них был такой, призналась мне позже благородная сука, будто их застигли врасплох на месте преступления. Короче говоря, готовить урок щенятам помогал не кто иной, как... Томми!

Прежде чем перейти к изложению моих собственных наблюдений, два слова о способе передачи информации, которым произвольно пользовался Томми. В целом он схож со способом передачи информации, принятым у Людей из Эльберфельда. Его можно условно назвать типто-стенографическим \*. Каждому удару человеческой лапы соответствует одна из согласных нашего алфавита. Гласными человек почти не пользуется. Но это не означает, что они ему неизвестны. Если человека попросить, он указывает то место, где, по его мнению, должна стоять гласная. Позже мы увидим, что некоторые удары условны и обозначают целые слова, часто употребляемые в речи. Круг таких слов был в свое время специально оговорен благородной сукой вместе с Томми. Кроме того, некоторые выстукиваемые Томми согласные обозначают названия букв в алфавите (например, «с» следует читать как «эс», «н» — как «эн», «к» — как «ка» и так далее). В случае неясности человек всегда готов дать экспериментатору необходимые разъяснения. Следует также отметить, что в отличие от Людей из Эльберфельда, применявших возрастающую числовую прогрессию в соответствии с расположением букв

\* Типтология — передача информации выстукиванием

алфавита (то есть 1 — б, 2 — в и так далее), Томми использовал внешне произвольную систему нумерации (буква «б», например, обозначается у него семью легкими ударами). Но в действительности эта система основана на принципе относительной частотности согласных в немецком языке (см. сводную таблицу частотности согласных в приложении к моей брошюре). Итак, что вполне естественно, Томми говорит по-немецки. Впрочем, иногда в его речи встречаются слова и выражения на местном, мангеймском диалекте.

Добавлю к этому, что благородная сука Мюллер в ответ на мое предложение посетить ее направила мне весьма любезное письмо, в котором просила обращаться с Томми как можно мягче и осторожнее, так как в то время ему сильно нездоровилось. Вот что она по этому поводу писала, я цитирую: «Он совершенно не переносит ударов или грубых окриков. Когда же все-таки случается прикрикнуть на Томми или как следует его шлепнуть, он низко опускает голову и, если можно так сказать, полностью замыкается в себе». К тому же за последнее время Томми обнаруживает внушающие некоторую тревогу признаки, нарушающие нормальную психическую деятельность, как-то: сильные головные боли, кровотечение из носа и прочее. Несомненно сказывается та напряженная умственная работа, которой он постоянно предается.

Итак, обратимся к упомянутым мною трем сеансам. Предлагаю вашему вниманию их подробные стенограммы.

### СЕАНС ПЕРВЫЙ. Гостиная благородной суки Мюллер.

Присутствуют несколько членов семьи, а также два профессора из Эльберфельда (смотри о них в указанной брошюре). Входит Томми. Он весел и слегка покачивает верхней частью туловища. Как и всем остальным, он протягивает мне правую переднюю лапу (по которой ударяет затем левой). Благородная сука усаживает Томми на пол рядом с собой и спрашивает, хочет ли он поработать.

Ответ Томми: два удара (что условно обозначает ja — «да»).

Тогда я прошу Томми сказать мне что-нибудь без подготовки и объясняю, зачем мне это нужно. Пока я говорю, Томми пристально и даже с пониманием смотрит на меня, затем, после короткой паузы, он выстукивает:

Г.: 19 3 9 18

W r d u.

(при прочтении одной из первых двух согласных следует исходить, как я указывал выше, из названия этой буквы, то есть «w» следует читать как «we» или «г» как «er».) Следовательно, получаем:

Г.: Wer du (?) \*

Кто ты?

Наверное, не каждому доводилось отвечать на вопрос кто он, к тому же отвечать... человеку! Оправившись от первоначального ошеломления, объясняю Томми, что специально приехал издалека, чтобы посмотреть на него и послушать, как он говорит: ведь его имя уже известно повсюду. Взгляд Томми выражает нескрываемое удовольствие (очевидно, тщеславие — одно из его слабых мест). Радостно сверкая глазами, он выстукивает:

Г.: 5 13 7, 12 9, 5 2 5, 9 13 3 3.

L i b h d l o l d i r r

(одна орфографическая ошибка, одна грамматическая; смазанный зубной звук на местном наречии; «h» мы читаем как «he», орфография — фонетическая). Значит:

Г.: Lieb hat Lol Dir (Dich).

Лол (тоже) тебя любит.

Лол — это прозвище Томми, или Тома. Так, чисто по-детски коверкая звуки, произносит его имя совсем еще молоденькая сучка. Я рад такому ответу и в качестве похвалы хочу потрепать человека по голове. Том мгновенно оскаливает зубы: во время работы он очень нервозен (о чем, впрочем, меня предупреждали).

\* В немецком тексте и в переводе допускаются неточности.

Благородная сука прикрикивает на него. Тогда Том выстукивает:

T.: 5 2 5, 1 10 6.

I o l f e i n.

очевидно:

T.: Том добрый (хотя и скалится).

Приступаю к изложению заранее разработанной программы эксперимента. Я нарочно никого не посвящал в свои замыслы и не спрашивал ни у кого совета, чтобы заранее исключить возможность сознательных или бессознательных «сигналов» по отношению к Томми. Свое мнение по этому сложному и весьма актуальному вопросу я выскажу позже. Итак, с целью вызвать у человека положительную или отрицательную реакцию на внешние раздражители, в данном случае отрицательную, я показываю ему платок, пропитанный одеколоном, и спрашиваю, что это такое. (С этого момента я уже не буду приводить здесь цифровые соответствия букв и останавливаться на прочих особенностях языка Томми. Еще раз напоминаю, что на все возникающие у вас вопросы вы найдете исчерпывающие ответы в распространенной мною брошюре.) Ответ:

T.: Ein dug (ein Tuch — слово довольно многозначное).

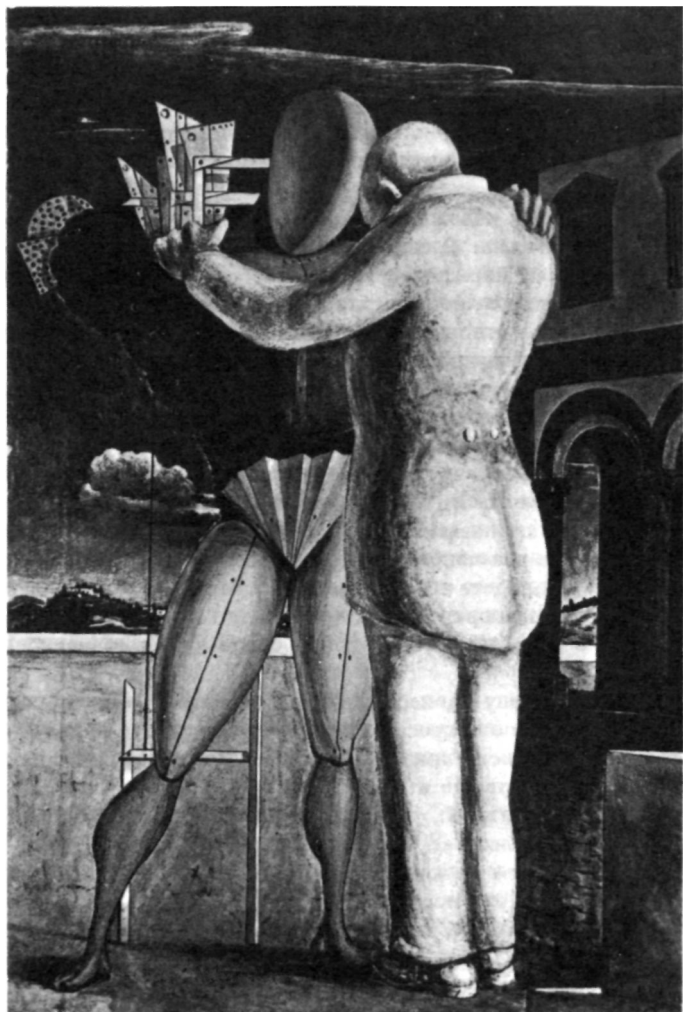
Платок.

Тогда я прошу принести мне другой платок и показываю его Томми (свои вопросы, и без того, конечно, адаптированные с учетом умственных способностей человека, я упрощаю, делая их еще проще и доступнее).

T.: Gribld (grippelt, просторечное — verkruerpelt).

Скомканый.

На запах скомканного платка Томми вовсе никак не реагирует. Это еще раз подтверждает, что у Томми, как мне до этого было сказано, очень слабо развито обоняние. Здесь сеанс ненадолго прерывается: со службы вернулся благородный кобель Мюллер, и человек радостно его приветствует. Том прыгает вокруг хозяина и едва не опрокидывает его своими лапищами. Сеанс возобновляется. Я показываю



Блудный сын. 1922.



Томми фотографию, на которой он изображен вместе с благородной сукой Мюллер во время одной из «бесед», и спрашиваю, что делает тут Томми.

Т.: Arbeidn (arbeiten).

Работать.

А ты охотно работаешь? Ответ решителен:

Т.: 3 (означает «nein»).

Тогда почему же ты работаешь?

Т.: Mus (muss).

Должен.

Почему «должен»? А что бывает, если ты не работаешь?

Т.: Hib (Hieb).

Взбучка.

Все присутствующие выражают бурное негодование. На самом деле Томми еще ни разу не били. Томми оживился и раскрыл рот, как бы смеясь. Он всем своим видом показывал, что это была шутка.

Хорошо, ну а если все-таки серьезно, почему ты работаешь?

Т.: (выстукивает несколько раз) 4 (означает «muede»).

Устал.

Я все же настаиваю на ответе.

Т.: Mudr lib hr aug (Mutter lieb, Herr auch).

Очень люблю маму, хозяина тоже.

Даю Томми немного отдохнуть. Затем, после небольшого перерыва, спрашиваю его: может, еще что-нибудь скажешь, мне было бы очень приятно.

Ответ решителен:

Т.: 3, Нет.

Тогда вступает благородная сука: ну, а маме ты сделаешь приятное?

Т.: 2, да.

Я: итак, тебе не нравится работать; что же в таком случае тебе нравится?

Т.: Laks sn (Lache essen).

Есть копченую семгу.

Это излюбленное кушанье Томми. Совсем недавно человеку посчастливилось снова его попробовать.

Ну, есть-то, говорю я, все люди горазды. Я знаю, ты устал, и если ответишь, я отпущу тебя.

Томми выстукивает прежний ответ. Наверное, я плохо сформулировал свой вопрос. Пробую объяснить иначе. И вот после короткой паузы, словно собравшись с духом, человек отвечает:

Т.: Bildr (Bilder).

Картинки.

На этом первый сеанс заканчивается. Пока воздержусь от комментариев и добавлю только, что во время первого сеанса, как, впрочем, и всех остальных, Томми крайне отчетливо выстукивал (если не сказать «скандировал») свои ответы на толстом листе картона, который держала перед ним благородная сука.

СЕАНС ВТОРОЙ. Буду предельно краток.

Ты меня еще помнишь?

Т.: 2, да.

Тогда скажи, кто я?

Т.: Ифлднл.

Не хватает гласных? Томми соглашается. Я прошу показать, каких именно и куда их следует вставить. Томми добавляет недостающие гласные; получаем мою фамилию: Ифлоднал. Каким образом Томми ее узнал, остается для меня полной загадкой. Тем более что в обращении ко мне все члены семьи использовали обычное для немцев «герр доктор». Остается лишь предположить, что человек прочел мою фамилию на визитной карточке, которую я оставил где-то в прихожей.

Скажи еще что-нибудь обо мне.

Т.: Mingn (Muenchen).

Верно, я приехал именно из Мюнхена. Томми мог узнать об этом из разговоров домашних.

Томми хочет пить, и его отправляют на кухню. В отсутствие человека я решаю воспользоваться его пристрастием,

как он выразился, к «картинкам» и провести важный во многих отношениях эксперимент. Я специально привез с собой несколько картонок, вложенных в совершенно одинаковые конверты. На одной из картонок я прошу благородную суку нарисовать птицу. На второй благородная сука пишет имя своей дочери Карлы: Томми питает к ней особую привязанность. На третьей я сам набрасываю контуры звезды и раскрашиваю ее голубым цветом. На четвертой картонке я рисую два смежных квадрата, красный и голубой. После этого я вкладываю картонки в конверты и прошу Карлу перемешать их так, чтобы я сам не мог догадаться, что где. Карла выполняет мою просьбу. Все это опять же делается с целью исключить всяческую возможность сознательных или бессознательных «сигналов» человеку, да и вообще любого воздействия на его психику со стороны присутствующих, включая и меня самого. Картонки я, разумеется, вложил так, чтобы, вынимая их из конвертов, экспериментатор не мог видеть рисунка. Томми возвращается в гостиную, и мы все отходим за спину благородной суки, которая приступает к эксперименту. Указанным способом она вынимает картонку и спрашивает у человека, что на ней изображено. Томми сообщает, что он устал и отказывается работать. Лишь после настоятельных уговоров, заручившись нашим обещанием показать ему несколько красивых картинок, если он будет отвечать, Томми наконец соглашается и выстукивает:

T.: Rod blau eg (Rot blau Eck).

Красный голубой квадрат.

Эксперимент удался. Я от души поздравляю Томми, а он, не дожидаясь очередного вопроса, выстукивает:

T.: Bildr gbn (Bilder geben).

Дать (дай мне) картинки.

Ничего не поделаешь: уговор есть уговор! Я вынимаю несколько художественных открыток и фотографии, на одной из которых изображен сам Томми, правда, уже в другой позе.

Кто это?

Т.: Лол.

А это? (фотография низкорослого человека-коротышки из породы такса-мэн).

Т.: Dgl (Teckel, просторечное — Dackel).

Коротышка.

Скажи, а ты тоже Teckel?

Т.: Man (Mann).

Человек.

Я знаю, что ты человек. Но и он человек. Какая между вами разница?

Т.: Andr fus (Andere Fuesse).

Другие ноги.

Действительно, известно, что отличительной чертой этих человеко-пигмеев является так называемое плоскостопие.

А это кто? (на фотографии изображены лошади).

Т.: Kul (Gaul).

Лошадь.

Непроизвольно человек добавляет:

Т.: Addr bild (первое "d" исправлено самим Томом на "n": ander Bild).

Другая картинка.

Пользуясь тем, что Томми в хорошем расположении духа, я пытаюсь получить от него еще несколько ответов.

Кто тебе больше нравится: девушки или собаки?

Т.: Medl (Maedel).

Девушки.

Почему?

Т.: Fein kr gledr (невозможно расшифровать; Том исправляет «к» на "h": fein Haar Kleider).

Красивые волосы и наряды.

Но и у вас красивые волосы и наряды (здесь, кстати, игра слов: "Haar", помимо «бороды», означает также «грива» или вообще «шерсть»). В чем же разница?

Т.: Hosn (Hosen).

Штаны.

Даю человеку немного отдохнуть. Следующий вопрос уже посложнее. На листе бумаги я воспроизвожу рисунок

Мюллера-Лиера \*, правда, в укрупненном виде, что еще больше усиливает оптическую иллюзию, и спрашиваю у Томми.

Tommy, welche ist die kuerzere Linie?

(Которая из линий короче?)

T.: Gein lngr (Kein laenger)

Ни одна не длиннее.

Значит, подобно Людям из Эльберфельда, Томми не подвержен оптическим обманам. Следует особо подчеркнуть и тот факт, что в своем ответе Томми воспользовался не тем словом, которое прозвучало в моем вопросе.

Далее я провожу аналогичные эксперименты.

Томми, ты знаешь, что такое фунт?

T.: 2, да.

А знаешь ли ты, что такое свинец? Он напоминает железо, но гораздо тяжелее железа.

T.: 2.

Теперь постарайся как следует сосредоточиться и ответь, что тяжелее: фунт свинца или фунт перьев? (Томми надолго задумывается, затем выстукивает):

T.: Gein (Kein).

Ни один (не тяжелее).

Многих щенят и даже взрослых собак легко поставить в тупик таким вопросом. В порядке вознаграждения я показываю Томми несколько открыток. На одной из них запечатлен спящий человек. Он лежит на диване, под головой у него подушка. Живо заинтересовавшись этим изображением, Томми по моей просьбе выстукивает:

T.: Man faul (Mann faul).

Ленивый человек.

В гостиную входит благородный кобель Мюллер. Заметив на столе букет гвоздик, преподнесенный мною перед началом сеанса его супруге, он предлагает провести с Томми экспери-



\* (Прим. автора.) Речь идет об оптической иллюзии Ф. Мюллера-Лиера, где длина отрезков, казалось бы, зависит от направления стрелок.

мент на счет. Всего за несколько секунд Томми должен сосчитать, сколько в букете гвоздик. Одновременно с Томми я тоже пытаюсь определить количество гвоздик. Однако времени слишком мало. Прошло всего 3—4 секунды. Букет убирают, и я задаю Томми соответствующий вопрос.

Т.: 23.

Я пересчитываю гвоздики, теперь уже без всякой спешки. И снова у меня ничего не выходит: все цветы одинакового цвета (красного), поэтому установить точку отсчета очень трудно. Каждый раз я сбиваюсь и получаю разные результаты. Тогда я пересчитываю гвоздики поштучно, получается ровно 23. На этом второй сеанс заканчивается.

По словам благородной суки, вечером того же дня человек выражал энергичный протест по поводу того, что теперь его заставляют работать и в воскресенье. Когда Томми спросили, откуда он об этом знает, он ответил, что видел на календаре красную цифру.

СЕАНС ТРЕТИЙ. Ответы животного, не представляющие для нас особого интереса, я опускаю.

На мои комплименты Томми отвечает:

Т.: Lib ifgdr ifldnl (расшифровать невозможно).

Исправив первое "if на "do", получаем:

Дорогой доктор Ифлоднал.

Совершенно очевидно, что ошибка произошла потому, что Томми *поторопился* мысленно воспроизвести написание моей фамилии.

Человек устал и растягивается на полу. Пока Томми лежит, благородная сука рассказывает мне историю о том, как однажды во время прогулки он бросился на какого-то типа, которого заподозрил в дурных намерениях по отношению к хозяйке. Том лежит с закрытыми глазами, при этом он открывает рот и, похоже, смеется.

Я: Так ты слышал, о чем рассказывала мама?

Т.: 2, да.

Я: О чем же?

Т.: Hr bs lol hlfn mudr (Herr boes, Lol helfen Mutter).

Господин плохой, Лол помогать мама.

В этот момент слышатся крики уличных газетчиков. Это наводит меня на мысль провести эксперимент на чтение. Мне приносят два свежих номера местной газеты. Я выбираю заголовок, набранный готическим шрифтом: *Der Herbst zieht ins Land* \*, и показываю его животному. Из присутствующих только я и Томми можем прочесть заголовок.

Т.: Dr hrbst dsid in land.

Обратите внимание, ответ Томми представляет собой не что иное, как фонетическую транскрипцию заголовка (с учетом упомянутых мною особенностей языка Томми), а не просто его механическое воспроизведение. Иначе говоря, животное прекрасно поняло то, что прочло. Судите сами:

Что такое "der Herbst" (осень)?

Т.: Dseid wn abl gbd (Zeit wenn Appel gebt, просторечное — Aepfel gibt).

Время года, когда бывают яблоки.

Затем я возвращаюсь к эксперименту с картонками, который проводил накануне. Только теперь человек и слышать об этом не хочет. Приходится долго его уговаривать. Наконец он все же соглашается, но с условием, что за работу он получит любимые лакомства. Итак, я показываю Томми первую картинку:

Что ты видишь?

Т.: Blau strn wisd (Blau Stern wisd, просторечное — wuest).

Голубая звезда, ужасная.

Человек явно раздражен. Далее:

А теперь что ты видишь?

Т.: Fogl baum (Vogel Baum).

Птица дерево.

На рисунке благородной суки действительно изображена птица, сидящая на ветви дерева. Затем следует короткий перерыв, во время которого человек может немного отдохнуть.

Реакция на третью картинку:

\* Ближится осень (нем.).

T.: Blau rod wirfl gnug (Blau rot Wuerfel, genug).

Красная голубая кость; хватит.

Яснее, как говорится, не бывает! Впрочем, для пушей убедительности человек издает несколько звуков, которые я даже не берусь назвать членораздельными.

Дальнейшее описание сеанса (полностью приведенное в моей брошюре) я опущу, так как оно не содержит ничего такого, что могло бы представлять для вас особый интерес. За исключением, пожалуй, целой серии математических экспериментов, в которых Человек, подобно своим братьям из Эльберфельда, продемонстрировал умение извлекать кубические корни, корни четвертой и даже пятой степени. И все это — с невероятной быстротой, точностью и, конечно же, в уме! Кроме того, он показал, что знаком с немецкими денежными единицами, мелкими и крупными купюрами и их обоюдной нарицательной стоимостью.

Позвольте и мне вслед за человеком сказать «хватит», имея в виду те необычные явления, с которыми мне довелось столкнуться. Необходимо отметить, что в настоящем докладе я до сих пор избегал каких-либо упоминаний об ответах или высказываниях человека, за которые, сказать по чести, я лично не могу ручаться. К тому же я вовсе не претендую на то, чтобы из приведенных мною фактов непременно делались далеко идущие выводы. Каких только поучительных примеров не найдешь в бесконечной веренице научных трудов, принадлежащих виднейшим и авторитетнейшим нашим ученым! (Впрочем, многое дают нам и неожиданные сообщения, поступающие непосредственно от животных.) И все же совесть не позволяет мне обойти молчанием отдельные ответы человека, которые любезно предоставили мне лица, стоящие вне всяких подозрений. Пока что эти ответы человека не нашли себе места в публикациях на данную тему. Однако я торжественно заявляю, что могу лично поручиться за абсолютную достоверность означенных ответов. Не стану занимать ваше внимание излишними подробностями и ограничусь лишь пятью ответами человека. Но именно эти пять ответов представляются мне решающи-



ми в том смысле, что должны, заметьте, не могут, а должны сломить всякое возможное сопротивление приверженцев существующих представлений об исключительности собачьей цивилизации!

*(В зале вновь поднимается шум, но после угрожающего рычания представителей левого крыла докладчик может продолжать.)*

На вопрос, чему подчиняются собаки, Томми ответил:  
Т.: Word gsets (Wort Gesetz).

Слово (y) закон (a).

*(Громкий топот, рычание, лай.)*

Второе высказывание животное сделало совершенно спонтанно. Обстоятельства, которые вызвали это высказывание, подробно описаны мною в приложении к брошюре.

Т.: Als was lebd hd sl (alles, was lebt, hat Seele).

Все живое обладает душой.

*(Заметим попутно, что фраза составлена практически безупречно.)* Это в первую очередь касается вас, господа собаки-католики!

*(Зал сотрясается от шума. Несколько членов собрания поднимаются со своих мест и устремляются к трибуне, угрожающе рыча и обнажая клыки. Спокойствие с трудом удается восстановить после вмешательства их превосходительств господ Комиссаров.)*

Позвольте мне продолжить! После того как Томми был показан натюрморт с петухом кисти какого-то живодера (ибо кто же еще мог взяться за подобный сюжет?) *(Возгласы: Да он к тому же и шутник!)*, человек ответил:

Т.: Dod hn ursl gn (tot Hahn, Urseele gehen).

Мертвый петух, отправиться (к) изначальная (ой) душа (e).

*(Протяжный вой, похожий на свист.)*

На вопрос, что есть человек — полагаю, и для собаки это вопрос далеко не простой, — Томми отреагировал так:

Т.: Teil fon ursl (Teil von Urseele).

Часть изначальной души.

Сказано более чем определено!

*(Волнение нарастает с неудержимой силой. Однако на короткое время все же удается восстановить относительное спокойствие.)*

И, наконец, на вопрос «тогда что же такое собака?»:  
Т.: Aug deil (Auch Teil).

Тоже часть.

*(В зале поднимается яростный топот, лай, вой. Оратор пытается перекричать этот гвалт):*

Заметьте, господа, Томми сказал «тоже часть». Таково и мое мнение! Таким должно быть теперь мнение всякого честного индивидуума!

*(В общей суматохе слышны крики: Шарлатан! — и прочее. Благодаря энергичному вмешательству левого крыла и частично центра, а также их превосходительств господ Комиссаров в зале ненадолго воцаряется тишина. Докладчик сильно возбужден, он тяжело дышит, высунув язык.)*

Итак, пришло время подвести итоги, господа прерыватели! *(Взрыв саркастического смеха. Докладчик отложил в сторону свои бумаги и теперь уже просто импровизирует. Крики слева: Дайте ему сказать!)* Настало время взяться за дело! Я обращаюсь прежде всего к собакам, представляющим левое крыло, к тем, кто искренне предан науке и готов бороться за истину! К тем, кому дороги идеалы добра! К тем, чей бескорыстный и пытливый ум стремится проникнуть в самую суть вещей и событий, касающихся не одних лишь собак, но и людей, всего, что существует в лоне нашей общей матери-природы! Сегодня мы являемся свидетелями очередного, пусть еще робкого, но ясного послания, адресованного нам из ее глубин, из тех глубин, которые мы в плену преступных догм веками приучались считать «непроглядной тьмой». Итак, господа, собаки полагали, что способность чувствовать, мыслить, делиться своими соображениями является их исключительной привилегией? Что ж, пусть это будет тяжелым ударом для вашей непробиваемой гордости, достаточно, впрочем, гибкой, когда речь идет о выгоде, — но это не так! *(Крики: Вы повторяетесь!)* Да, я повторяюсь и буду повторяться, куда хватит

сил! Мне далеко не просто сообщать вам это, господа собаки, приготовьтесь к самому худшему: человек заговорил! Так неужели тот, у кого есть ум и сердце, не ответится на обращение человека, да и не только человека, а любого другого животного? Конечно ответится! Человек заговорил. Он сообщал нам свои мысли, да, я не стыжусь этого слова: именно мысли. Человек заговорил, рушится стена, воздвигнутая убогими теориями на пути свободного восприятия природы и ее механизмов, падают Зарифовы столпы собачьей науки, разбить которые у собак не хватало духа. Новые горизонты распахиваются теперь, о собаки, перед пытливым умом изыскателя и вдумчивым взглядом мыслителя, новые дали открываются для полета души! (*Шум в зале.*) Человек заговорил — и рушится последний оплот, казалось бы, священной, а на самом деле кощунственной доктрины, разлетаются в прах немощные догматы этой, с позволения сказать, религии, вся сила которой — во всеобщем невежестве! Пусть сойдут с дороги ее низверженные жрецы! (*Зал оглашается громкими, негодующими криками.*) Все эти наивные иллюзии и предрассудки порождались слепыми, корыстными интересами и пустопорожними теориями столь же бездарных, сколь и преступных философов! Нет, господа, человек заговорил — и теперь в духовной истории собак открывается новая эра! Новая эра наступает и во всей собачьей науке. Настанет день, и ее назовут логантропической эрой! (*Зал раздражается возгласами протеста; повсюду стоит неопикуемый гвалт; то тут, то там между правым и левым крылом происходят стычки. Жестами оратор показывает, что скоро уже закончит. Дальнейшее выступление докладчика постоянно прерывается.*)

Господа, в начале своего доклада я обещал поделиться с вами наиболее общими соображениями по поводу вышеизложенных фактов. На основе этих фактов, а также других многочисленных свидетельств я намеревался обозначить, хотя бы приблизительно, те основные черты, которые характерны для человеческой психики. При этом я собирался перечислить несколько типичных для человека реакций на

внешние раздражители. Затем я перешел бы к опровержению мнений целого ряда ученых, которые по различным причинам не хотят прислушаться к голосу истины. Иными словами, в благоприятной для сотрудничества атмосфере я надеялся торжественно положить начало научным изысканиям в этом чрезвычайно плодотворном направлении.

Однако, видя, как вы настроены, я отказываюсь от своих намерений. *(Возгласы: Слава богу!)* Вместе с тем я хотел бы довести до конца этот многострадальный отчет и тем самым завершить наше бурное заседание несколькими общими выводами, которые, надеюсь, не затронут ничего самолюбия. *(Возгласы: Даем вам еще пять минут. Представители правого крыла все как один демонстративно вынимают часы.)*

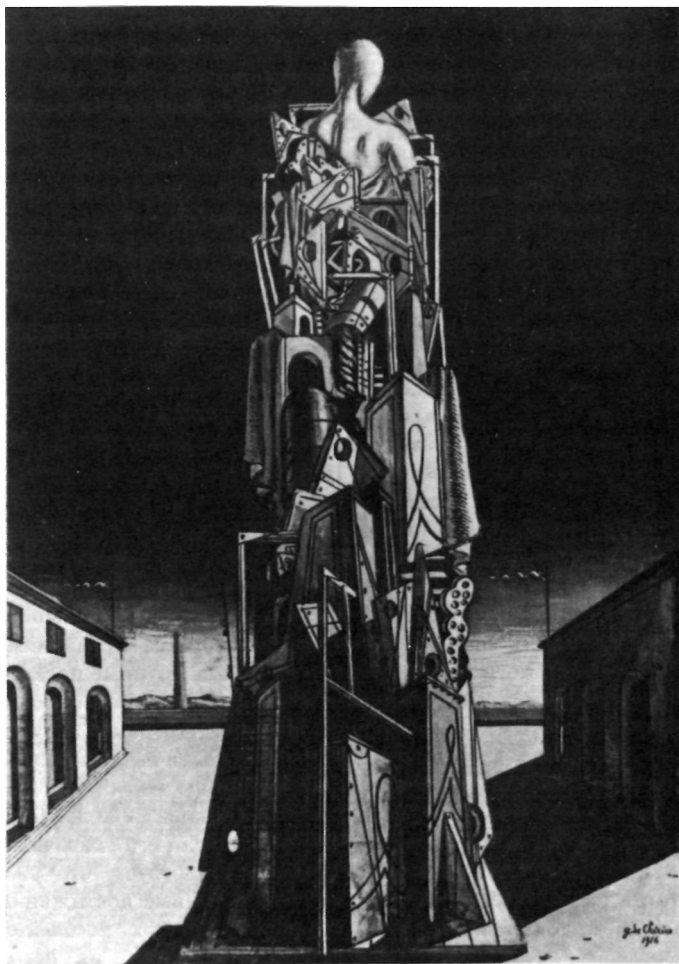
Итак, господа, прежде всего я хочу во всеуслышание подтвердить здесь, перед лицом всего научного мира, с огромным интересом следящего за нашей работой, свою непоколебимую веру в упомянутую мною теорию всеобщей души. Еще в древности немногие лучшие умы предсказывали ее существование, сейчас по-прежнему немногие отстаивают эту мысль. Господа, без тени какой-либо неприязни я призываю каждую собаку преисполниться благородства и стать выше обманчивых химер и насквозь прогнившей мистификации, веками выдаваемых нам за истину. Собачий дух, господа, не лишится ни одного из своих завоеваний, если станет воспринимать окружающую действительность еще шире и глубже. Более того, он покроет себя неувядаемой славой, первым признав ближнего своего во всяком живом существе. Природа неустанна в своем движении: все, что угасло, воскреснет и вновь угаснет, чтобы опять воскреснуть. В этом заключается смысл новой веры. Существа, наделенные даром речи, умолкнут, а немые снова заговорят. Как сказал Томми, не только то, что живет, но и все сущее есть часть всеобщей души. Что же в этом унижительного для гордого собачьего рода? Да, господа, я осмелюсь утверждать, что недалек тот день, когда собачий род взволнованно и радостно признает свое продолжение во всем, что его окружает: в полевой

травке и мимолетной бабочке-однодневке, в тысячелетней скале и живом небесном светиле!

Да, господа, в один прекрасный день все собаки признают в человеке своего ближнего, точно так же, как я — и мне не стыдно в этом признаться — воспринимаю его отныне! *(Крик из зала: Эту привилегию вы вполне заслуживаете! Смех.)* Именно так следует воспринимать происходящие в природе процессы, тогда все и в ней, и в нас встанет на свои места. В этом, повторяю, и заключается суть будущей веры! *(Крик из зала: Прошло уже три минуты! На лице оратора изображается грустная улыбка. Совершенно спокойно он продолжает.)*

Что ж, двух минут мне вполне достаточно, чтобы упомянуть об одном любопытном факте, который, признаюсь, весьма для меня важен. Как и прежде, я обойдусь без комментариев, ибо считаю это совершенно излишним, если факты говорят сами за себя. Не так давно начальник научной экспедиции на Мату Гросу \* полковник Лоусетт любезно сообщил мне, что им повстречался необыкновенно старый кобель-абориген, разумеется, колдун. Собаки его племени считают, что ему по крайней мере семь тысяч лет. Полковник Лоусетт утверждает, что из его уст он услышал нечто из ряда вон выходящее. По местным преданиям, в этих краях когда-то якобы располагались крупные поселения. В свое время они пришли в упадок, опустели и сплошь заросли густым, непроходимым лесом. Предания также гласят, будто у жителей этих поселений были высоко развиты ремесла и искусства. Очевидно, им было известно и все то, чего достигла сегодня и чем гордится наша цивилизация. Помимо этого, почтенный колдун (даже если его сказочный возраст не что иное, как миф) свидетельствует, что уже тогда широко использовались все современные достижения науки и техники. Обитатели этих загадочных поселений могли, к примеру, обмениваться информацией на невообразимо далеких расстояниях с помощью особых деревянных ящичков. Один из них полковник якобы видел сам.

\* Имеется в виду плоскогорье в Бразилии Мату-Гросу.



Великий метафизик. 1925.

Теперь ящичек был уже совершенно бесполезен, но тем не менее благоговейно хранился как святыня. Они летали на крылатых аппаратах и располагали, подобно нам, всеокрушающими орудиями войны и разрушения. Полковнику Лоусетту даже показывали заросшие лесом развалины. Похоже, это были руины крупных городов. Обломки одного из воздушных аппаратов, о которых говорил древний колдун, напомнили моему другу современные бумеранги, хотя, судя по конструкции этих аппаратов, можно смело предположить, что их создателям были хорошо известны законы аэродинамики.

Так вот, господа, по мнению этого живого оракула, та древняя культура еще не была собачьей культурой; членами тех славных родов были еще не собаки, а... люди!

*(В зале поднимается настоящая буря. Возгласы: Пять минут уже истекли! Освободите трибуну! Оратор знаком просит дать ему еще минуту. С трудом разрешение все же получено. Оратор продолжает среди нарастающего гула.)*

Повторяю: я не стану давать оценку этим невероятным сообщениям, дошедшим сюда из столь отдаленных мест. Не буду ни соглашаться с ними, ни опровергать их. Но посудите сами, господа: может ли ум, лишенный предрассудков, не допустить, хотя бы чисто теоретически, все вышеизложенное? Вы можете думать обо мне что угодно, но я отвечу — нет! Во всеобщем времени переменчиво все и эпоха сменяется эпохой. Так почему бы не предположить, что эпоха собак возникла после заката эпохи людей? Не являются ли беспорядочные звуки, издаваемые сегодня людьми, отголосками некоего языка, и при этом языка благозвучного? Не могла ли человеческая раса по собственной вине или в силу полной деградации уступить господство над природой собакам? Но уже после того, как на протяжении какого-то времени господствовала над ней сама? *(Шум в зале подобен землетрясению. В порыве гнева оратор пытается перекричать собравшихся.)*

Почему вы не хотите это признать, почему неистовствуете? Я вам отвечу почему: потому что ваша наивная спесь не

допускает иной власти, иной веры, чем ваша собственная! Потому что вы гнусные, самодовольные слепцы! А главное, потому что вам внушает смертельный ужас мысль о том, что однажды, пусть еще и не скоро (хотя так ли не скоро?), вам придется, более того — вы будете постыдно вынуждены, по собственной вине или в силу полной деградации, вновь уступить мировое господство людям или любому другому виду животных!.. (Шум, гвалт и топот достигают предела. В зале не смолкает лай, тьяканье, завывание, визг. Их превосходительства господ Комиссары просят оратора прервать доклад. Одновременно со всех сторон его пытаются схватить и выволочь с трибуны. Повсюду происходят яростные схватки между представителями левого и правого крыла. Оказавшись меж двух огней, центр почти в полном составе покидает зал. Какому-то ученому, представляющему правых, безжалостно откусывают ухо. Оратор бессильно разводит передними лапами. Его стаскивают с трибуны и толкают к выходу. При этом оратор продолжает что-то выкрикивать. Вид у него весьма жалкий: он весь обмяк, из пенного рта бессильно свисает длинный язык. В тот момент, когда он выходит из зала, раздаются крики:

— Это не шарлатан, а шантрапа, прохвост и невежа!

Взрыв смеха и улюлюканья. Ничтожное меньшинство горячо аплодирует.)



## Обратная сторона луны

Скажу без обиняков: иные часы и даже целые дни — словно прорехи в непрочной ткани нашего бытия. Волею царящего рока, как обвинения, выдвинутые перед тайным судом, над нами довлеют тогда все превратности судьбы, и особенно отчетливым становится предчувствие смерти, что, по мнению одной нашей молодой писательницы, является стержнем и основой любого произведения искусства, достойного этого имени. Такие дни — поистине маленькие шедевры. В нас появляется особая утонченность вкуса, и мы совсем не думаем о чем-то тяжелом или непоправимом, скажем, о смертельных болезнях, будущем разорении и прочем. Ничего подобного. Скорее, перед нами выстраивается цепочка досадных и необъяснимых обстоятельств, в сущности, не затрагивающих нас как-то серьезно, но оставляющих тревожное ощущение глубокого душевного смятения. К вечеру такого дня вы обнаруживаете, что все по-прежнему, не лучше, не хуже: ваша подруга еще не изменила вам, вы пока вполне довольны собой и своими поступками. И все-таки вас охватывает непонятная растерянность, смутное предчувствие нависшей над вами угрозы. Как будто вас заставили взглянуть на покрытую мраком оборотную сторону вещей, туда, где все — холод и ужас. Или будто вы повернули к себе луну обратной стороной. Чтобы понять это последнее сравнение, вспомним предсказание древнего звездочета, считавшего, что скрытая от нас сторона луны вогнута (из этого он даже выводил, что в один прекрасный день силы небесные воспользуются этой особенностью луны, чтобы испепелить всех нас: повернув луну вокруг ее оси, они, точно

зажигательным стеклом, спалят землю). Так вот, представьте, будто вы повернули выпуклую, сияющую сторону луны, что как раз под стать событиям и делам нашей повседневной жизни, и очутились на краю темной, холодной бездны!

Но и здесь, с присущей ему тонкостью вкуса, словно драматург, задумавший прельстить публику приятной концовкой, рок, которому мы обязаны этой жалкой комедией за наш счет, сам накладывает на рану повязку. Вскоре полоса удач сменяет полосу неудач, а любое приемлемое решение вселяет в нас уверенность и надежду. В конечном счете ничего не произошло, и жизнь продолжает идти своим чередом.

Однако оставим эти рассуждения и обратимся к примеру.

Дело было, разумеется, ночью, хмурой и бесприютной. Темное небо было покрыто облаками, время от времени ворчливо погромыхивал гром. Придя домой, я обнаружил на столе промокашку, лежавшую так, что ее нельзя было не заметить. На промокашке было написано: «Да здравствует наш час!»

— Что за чушь! — не задумываясь, скажет любой из нас.

Во всяком случае, мне эта надпись ничего не говорила (я так и не узнал ни от хозяйки, ни от горничной, кто был невежа, сыгравший со мной такую плоскую шутку). Пошли дальше. От такого послания настроение у меня разом испортилось. Мне стало как-то не по себе. Промаявшись остаток ночи, я поднялся очень рано. На улице стоял туман. Небо было сплошь затянуто серыми тучами, но день уже наступил. И вот на пересечении двух улочек старого города из двери какой-то халупы выскочил неизвестный тип в трусах. Размахивая пистолетом, он подскочил ко мне и с дикими воплями выстрелил в меня несколько раз. Затем он кинулся прочь и пропал в каком-то закоулке. Что было с ним дальше, не знаю. Сумасшедший, скажете вы.

Продолжим. Уже днем, на одной из пустынных улиц, примыкавших к моему дому, мы вместе с подругой собирались выйти из ее машины и отправиться ко мне. Неожидан-

но перед нами возник другой неизвестный. Он с подозрительным видом вертелся вокруг нашей машины, держа в руках словно напоказ листок бумаги зеленого цвета. Он, казалось, следил за нами. Испугавшись, моя спутница (а она была замужем и имела все основания прятаться от посторонних глаз; кроме того, как всякая женщина — неважно, замужняя или нет, — она боялась попасть в руки вымогателей) с места рванула машину и обратилась в бегство. После этого она уже ни за что не хотела возвращаться обратно и заставила меня провести два томительных часа в пустом зале какой-то чайной. Томительных потому, что, во-первых, я никак не мог выкинуть из головы мысль о предвкушаемом удовольствии. Во-вторых, с чисто женской логикой, она считала, что это я виноват в появлении незнакомца с зеленым листком.

Наконец, ближе к вечеру я сбегал по лестнице учреждения, где отбывал нудные присутственные часы, зацепился за перила и распорол себе пальто от кармана до самой груди.

Так как другого пальто у меня не было, его волей-неволей следовало чинить. В галантерейном магазине я раздобыл адрес штопальщицы и не мешкая отправился к ней. Штопальщица провела меня в убогую, но аккуратно прибранную кухню. Окна кухни выходили, как я потом заметил, на маленький огородик. Мирное прибежище среди городской суеты.

— Вы можете оставить пальто у м е н я , — предложила она.

Я объяснил, что хотел бы забрать вещь как можно скорее.

— Тогда придется подождать.

У нее были седые волосы, зачесанные надо лбом двумя гладкими прядями. Меня поразили необыкновенная ясность и уверенность ее речи и поведения. Принимаясь за работу, она обронила всего несколько ничего не значивших слов. Но произнесла она их таким мягким голосом и так спокойно при этом смотрела на меня, что мне они показались словами надежды. Наверное, у меня был совершенно ошарашенный вид, хотя скорее всего она как-то еще догадалась о моем

душевном состоянии и не захотела огорчать меня. Во всяком случае, ради этого пальто она отложила в сторону целый ворох одежды, которую штопала до моего прихода. Потом мы молчали. Я был словно в полусне. С огорода долетали ласкавшие ухо звуки, где-то кудахтали куры, в чьем-то окне заливались прощальной трелью канарейки, едва слышно кричал на дворе мальчик, а я не отрываясь следил за тем, как уверенно двигалась игла в руках штопальщицы. Короче говоря, все это вселило в мою душу ясность и спокойствие. Примерно через полчаса она вернула мне пальто. На нем не осталось и следа от прорехи. Так эта милостивая парка \* собрала оборванные, перепутанные нити моего дня и любовно связала их.

К сказанному, однако, прибавлю вот что: во всей этой истории есть один подвох. Сезона два еще пальто носилось просто замечательно, ничего не скажешь. Но затем оно стало постепенно стареть. И тогда след от штопки выступил наружу. Чем сильнее изнашивалось пальто, тем заметнее становился след. Наконец он превратился в безобразный рубец. Шло время, и все больше казалось, что нити, соединяющие края разрыва, вот-вот лопнут и рана на ткани снова откроется во всей своей чудовищной непристойности.

\* Парка — одна из богинь судьбы в римской мифологии, прядущая и обрывающая нити человеческой жизни.

# Солнечный удар

A l'éloquence ne tords pas son cou \*.

Сова неожиданно резко замедлила полет и села на развилину дерева. Ее начинали одолевать тоска и смутное беспокойство. Заря еще не окрасила небо, нет, но за горизонтом уже чувствовалось ее приближение. С восточной стороны медленно бледнели звезды. Надвигался неистовый день. Размытый предутренний свет заволакивал пеленой совиные глаза, пряча от них далекие горные вершины. Наверняка это крадучись пробиралось губительное солнце, чтобы показаться меж горных хребтов в своем омерзительном триумфе.

Тошнота, смешанная с меланхолией, росла в ней по мере того, как переворачивался небосвод, увлекавший за собой тень предутренного света. Уже белел восток, с неуловимым подрагиванием разливалась вокруг зловещая бледная муть. Как бледны мертвые, так бледна и умирающая ночь. Уже по краям долины глухо разносился звуковой озноб, пока еще не переросший в настоящий звук: голос света собирался громогласно возвестить о себе. Вместе со свежим ветерком ворвался первый шелест ветвей; бледное марево понемногу густело, насыщая собой воздушный покров. Неожиданно раздалась первая трель. Одинокая, она длилась недолго: к ней присоединились другие голоса — и грянул хор. С этого мгновения рокоту, треску, шорохам, а затем и гулу не было конца. Серебрились оливковые деревья, небо, ветер, облака покрывались позолотой, подергивались кровавой пеленой. Изумрудно-нефритовая пыль струилась в высоте, а за ней плыл дымчатый коралл перистых облаков. Но вспыхивавший то тут, то там загадочный огонь разрывал блеклый полог

\* Не сворачивай шею красноречию (*франц.*).

облаков на множество пылающих фалд. Неудержимо гулко возвещал о себе день.

Восход солнца оглашался пронзительными писками и нетерпеливым брожением. Поспешно обращались в бегство последние тени, а с ними и запоздалые обитатели ночи. В ошеломлении сова замыкалась в себе перед лицом враждебного ей начала, и уже очертания предметов расплывались у нее в глазах. Она чувствовала себя совершенно потерянной, как будто на нее вот-вот с грохотом обрушится морской вал. Противостоять этому она не могла и вынуждена была забиться в свое последнее прибежище. Ибо как человек в ночной мгле поддерживает глубоко внутри себя последний слабый огонек, едва теплящуюся искорку света, так и сова хранит в продолжение бешеного дня свою искру мрака. Но иногда огонек колеблется, искра вот-вот потухнет, и мгла надвигается, словно пучина подземных вод, образуя беспросветный омут. Или наоборот: бледнеет тень, и на ее место приходят свет и хаос.

Солнце торопливо двигалось меж горных гребней, оставляя на небе пылающий нарыв. С минуты на минуту он должен был лопнуть. Сова ждала этого момента, веки ее были сведены судорогой. Время тянулось невыносимо долго; казалось, нарыв не мог столько выдержать, небесная кожа должна наконец треснуть — настолько она была натянута и блестяща. Кожа все растягивалась и растягивалась, она налилась слепящим гляncем, но почему-то никак не лопалась. Бесконечно время томительного ожидания; если уж нам и суждена страшная участь, пусть свершается побыстрее, тогда мы хотя бы сможем полностью отдаться ее воле!

И вдруг прорвался хохлатый день, как властелин, стремительно вознесся он над каменистым склоном. Полное смятение охватило сову. Мрак слепоты окутал ее безвозвратно. При появлении владыки-дня толпа услужливых придворных воспрянула духом и снова завела свои хвалебные песни. Повсюду заволновались, заиграли, запрыгали его верные слуги: свет и цвет. Влажная лиловая дымка — шлейф ночи — еще продолжала отчаянно бороться. Всем, все-

му этому сонму беспардонных солнечных созданий присутствие господина внушало разудалую дерзость. О непристойный грохот, бешеное клочкотание вод, сумбур лучей, конечностей, ветвей! В тот миг вы мнили себя властелинами земли, детищами леса, воздуха и моря! Распутный и тщеславный род — род вашего небесного Силеня. Но пройдет его время, и он низвергнется в соленые пучины, рухнет на дно стремнины, и коричневые тени снова завладеют миром.

Но уже не для совы. Рокот оглушает ее, невыносимые переливы света, его блеск слепят. От этого света и грохота она умрет. С замиранием сердца, безумно вытаращив глаза, сова напрасно силится смотреть сквозь взбаламученное марево. Она чуть покачивается и сопит. Ни одно дневное существо не замечает сову, а ее глухое сопение поглощается воздухом. Какофония звука и света усиливается. Вспышки становятся все ярче, вскрики все пронзительнее; нестерпимы эти языки, эти лезвия рыкающего пламени. Их сила постоянно нарастает: вспышки уже не чередуются с короткими затишьями — они сливаются в сплошное ослепительное сверканье, выдержать которое просто невыносимо!

Гул и рев стоят такие, что образуют единое воющее стенование; оно все ширится и поднимается ввысь, наполняя собой небесную полость. Адская кухня дня: уже не различить, где свет, где звук, а где цвет; все вокруг пылает и молотит, молотит по глазам и внутренностям. Пылает вселенная. Колотится в агонии сердце. Затем — удар, ослепительная вспышка. Гул разлетается в жужжание и умолкает. Сова погружается в спящую белизну смерти.

— Ну как?

— Говорил я тебе, поаккуратнее надо с порохом! Посмотри, упала, а все жива. Возись теперь с этими патронами!

И хотя сова все еще билась там, на земле, под самым носом у пса, который обнюхивал ее с недоверием, хотя еще пыталась как-то неуклюже взлететь, делала она это в полном беспомоществе и была счастлива.

— Ты что, даже не возьмешь ее?

— Да на что она мне!

# ОГОНЬ

Для той рождественской ночи я выбрал огромное полено. С толстым, круглым, чуть заостренным на конце отростком, или сучком. Я сразу увидел в этом отростке искаженную морду, даже целую голову медведя или другого страшного зверя. Полено покоилось на каминных камнях и точно пронзало собою камин. Словно гигантский пленник, оно было заточено в его пасть по самые плечи — виднелась узкая полоска плеч. И голова.

И женщина, щекой прильнувши к моему плечу, промолвила:

— Отныне вот дом мой, вот и мой огонь; будь милостив ко мне, дух этих мест, и ты — дух очага, любимого хранитель моего. Так сделай, чтобы мне он оставался верен, чтобы заботы не тревожили его иные, чем те, что будут связаны со мной. Пусть вечно счастливы мы будем и наше время проведем в ничем не омрачаемом согласье вблизи пылающих твоих волос, под взглядом доверительным твоих пурпурных глаз; мы — вместе с нашими детьми. Пусть будет ныне так и после нашей смерти.

Эти и другие слова произнесла она и смолкла. И мы внимательно прислушивались к огню, словно его голос соединял нас лучше нашего собственного. Я было в это сам поверил.

Спокоен огонь, его бормотание привычно и знакомо, но мало кто понимает этот многоголосый язык. Огонь наивен и суров; он хнычет как дитя и изрыгает грозные вердикты, виденья яркие и блеклые рождает; небесные создания и земные то копошатся, то, застыв, на вас взгляд, полный ужаса, вражды и подозренья, из огненного чрева устремляют: гла-



за пылающей души то широко распахнуты, то веждами, как пологом, прикрыты. И даже если по вольному своему нраву он вдруг подскочит в змеином извиве, засвищет, словно ветер, загудит, будто вихрь, затрясет воображаемой гривой — даже тогда он остается добрым духом.

Так говорят об огне, таким он мне тогда и представлялся. Но в ту ночь я увидел его в гневе: огонь изобразил злоеущий пейзаж (как будто пораженный лучом опаленных, кровавых лун) и дрожал, прыгал, подбрасывал все выше и выше свои языки, завывая и рыча. Он несомненно что-то хотел сказать нам, но что именно, мы не могли разобрать. И он неистовствовал. Его божественный язык готов был воплотиться в наше жалкое, членораздельное наречье.

В растерянности я повернулся к своей подруге; она по-прежнему молчала, взирая на огонь горящими глазами. А монстр пронзал камин, на камни опершись. Внезапно я заметил, что голова его медвежьей не была; она была такой, как у меня, у нас у всех, хотя и изуродованной страшно. Пламя высекло в ней щеки и вылепило все лицо. Гигантский узник сбрасывал с себя покров. Глаза его мрачно поблескивали в обрамлении последних всплесков пламени, и он смотрел на женщину, смотревшую не отрываясь на него.

Вздвигнув, голова увенчалась пламенем, и клокотанье вылилось в слова.

— Вот, де в а , — проговорил о г о н ь . — Я отвечаю на твои мольбы и открываюсь перед чистым сердцем, чего со мною раньше не бывало. Я дух и вместе пленник очага, как видишь, и ты печальные известия услышишь. Подле меня покоя нет, и тщетны все твои надежды. Страшное проклятье тяготеет надо мной и над каждым, кто приблизится ко мне: способна погубить любого власть моя. Разве сверкающее солнце, к которому мы все исполнены благоговенья, не одной со мной природы? Но оно свободно прокладывает путь свой по небесным нивам, я же так и не знаю, кто заточил меня сюда. Не я ль сама свободная стихия, одна из благороднейших стихий? Однако напрасно я пытаюсь дотянуться каждым языком и взлетом каждым до небесной родины моей.

Казалось бы, размеренно и чинно я людям должен долю лучшую сулить. Но дело, дева, обстоит иначе. Судьба, подобная моей, уготована всем людям, живущим рядом со мной. Ибо как людям позволено низводить меня — что большим оскорбленьем может быть? — до самых низменных своих потреб, так и мне предписано вселять в их души безотчетное смятенье. Я сбиваю их слух с глубинного ритма времени, мешаю постичь звучную гармонию стихий; подле меня им не услышать многоголосия природы — нашей вечной матери, как не разобрать им и моего предсмертного хрипа: лишь шум их ухо сможет уловить, лишь жалкие крупницы звуков. Я отдаляю их сердца и души от дел достойных и на делишки темные толкаю, их ум я отвожу от мыслей горних и в бездну мелочных тревог его ввергаю. А главное — из их груди я исторгаю лавину бесполезных слов, и не зловещих или гневных, а чахлых, сумрачно-тревожных, бесславных и неистоимых. Самих себя, друг друга словами этими они без устали терзают.

А есть ли что-нибудь печальнее, чем их слова? Они пульсируют, как дурная кровь; за разум ум заходит в бесплодном их коловращенье. Они могут вызывать отчаяние или тревогу, близкую к помешательству: и уже родитель не признает собственное дитя, а нежная юница — родную бабу. Злоба, скрытая ярость, неприязнь или ненависть тайная к ближнему. — вот перечень услуг, оказываемых мною людям, мною, самой благородной из стихий.

Недолог вольный век стихий под солнцем — земли, воды и воздуха. Но суждено им оставаться в оковах тщетной суеты, в плену бурлящего потока слов людских томиться, как я у камня узником томлюсь; пока что будет так и дальше. Тебе же, дева, лучше избегать меня и не взывать ко мне. Теперь ты знаешь, что со мной покоя быть не может. Разве покой не означает умолкнуть и отдаться на произвол стихий, подобно вольным детям земли, воды и воздуха? Не это ли для вас покой? О, как хотел бы я вернуться в пределы моей небесной родины! Но довольно, об этом ни слова больше.

Да, дева, такова моя губительная власть. И вот что я, дух очага, скажу тебе еще: любимый твой твоим, как ты б того хотела, не будет никогда, ибо принадлежит он мне. Здесь жили и умирали его предки, и он здесь будет жить и здесь умрет. И точно так, как я на муки вечные здесь осужден, он обречен на будничную жизнь в водовороте слов под этой древней кровлей. И уж душа его отсюда не взлетит и не последует за идеалом красоты.

— Кем бы ты ни был, ты лжешь! — воскликнул я.

Но огонь тряхнул нетерпеливо пылающими космами и продолжил, не вникая мне:

— И все же, дева, утешься, если можешь. Бесплодное брожение это в действительности — лишь мельканье теней. Всмотрись внимательней, и ты увидишь, что лики, отражаемые в пламени моем, не лики вовсе, а скорее блики и никак не формы. Прозрачные лики, скользящие блики — облики зловещего сна моего. Это вовсе не люди, людьми не бывшие от века; э-то — от-ражения. Их смутный облик вечно пребывать здесь будет. Так и ваши лица — твое и твоего любимого: не зная другого света, кроме моего кроваво-красного, они со мной пребудут вечно, после того как смерти вашей час пробьет. Разве ты не слышишь, сколько духов, из тех, что век свой бранный влачили под этой кровлей, теперь мне вторят? Размыто-огненные маски, они следят за вами из-за ваших плеч и просто так добычу не оставят. Свою добычу, дева, не упусти и я.

— Ты лжешь, злой дух! — вскричал я снова.

Огонь, однако, перейти уже успел на свой изменчивый язык, понять который до конца пока нам не дано. И женщина молчала, голову склонив. Гигантский узник каминных камней опустил свои пепельные веки, и на нее он больше не смотрел. Все его лицо стало покрываться тонкими, дрожащими веками, трепетавшими при каждом вздохе ж а р а , — отображение безобразного распада.

Пейзаж с кровавыми лунами уродливо менялся, становясь все мрачнее и пустынее. Лицо страшилища продолжало разлагаться и угасать; пеплом опадали щеки, блеклая ко-

жа с них мертвыми свисала струпьями. Над головой уже не вился горделиво пламенный венец. Пергаментная плоть была готова обратиться в прах.

И вот огонь замолк совсем. На подставку для дров медленно и осторожно взобрался кот. Хвостом коснувшись пепельного лика, он оставил на нем чуть заметный узор.

Тогда и я не знал, что означает эта смерть огня. Но знаю я теперь, когда лицо моей подруги тоже стало прозрачным ликом, пунцовым отраженьем в глухом кошмаре, порождаемом огнем. И умерла она, пророчеству покорна, как, не жив, умрем мы все.

# Смех

## 1

Господин Т., как, впрочем, любой из нас, никогда не видел наемных убийц вблизи. Да и этого малого, что находился сейчас перед ним (появившись с должной таинственностью и должными предосторожностями), оказалось не просто за-получить, и если бы не помощь кое-кого из влиятельных людей...

Даже смешно, до чего он был похож на человека своей профессии, на наемного убийцу, каким мы все его представляем: в новенькой шляпе, надвинутой на глаза, в начищенных до блеска сапожках со скрипом, из нагрудного кармана выглядывает платок, развалистая походка и так далее. Но от этого его наружность, первое впечатление, которое он производил, не были менее страшными, менее угрожающими: одни глаза чего стоили — с поволокой и в то же время пронзительные, да и умные, ничего не скажешь, жестоко-озорные.

Он приблизился, настороженно ступая, сел на подлокотник кресла и вопросительно вскинул подбородок: дескать, что там у вас, выкладывайте.

— Я имею удовольствие видеть?.. — церемонно поинтересовался Т.

— Точно, он самый. Ну?

— Мне нужна ваша помощь.

— Нетрудно догадаться. Кого будем пускать в расход?

— О боже! Вы меня пугаете. Неужели нельзя говорить обтекаемо?

— А зачем?

— Понимаю, понимаю. Ведь иначе...

— Иначе я не был бы тем, кто есть. Ну и кого же?

— Если вопрос стоит так...

— Так, так!

— Меня.

Уже упомянутые глаза наемного убийцы озарились на миг веселыми искорками, а может, терпеливым пониманием, словно перед ним была капризная женщина или ребенок. Но только на миг.

— Вас, вы сказали? То есть я должен пустить в расход вас самих?

— Вы не ослышались.

— А за что? — спросил наемный убийца равнодушным голосом, без тени удивления.

— Это мое дело.

— Точно, дело ваше.

— Я не хочу больше жить. Ясно?

— Яснее некуда, — признал наемный убийца. — А какие условия?

— Гм. Сколько вы берете за свои услуги?

— Пять миллионов.

— Недешево.

— Это моя обычная такса.

Т. быстренько подсчитал в уме свои сбережения и согласился:

— Ладно, пусть будет пять миллионов.

— А что от меня требуется, если поточнее?

— Как что? Убить меня.

— Да, но когда? Где? Каким способом?

— По вашему усмотрению.

— Э, нет, так я не работаю, не привык: тут пахнет подвохом. А почему вы сами себя не убьете?

— Потому что боюсь.

— Бойтесь, значит. Выходит, я должен убить вас неожиданно — так сказать, в порядке- сюрприза?

— Конечно.

— Чтоб вы даже не поняли, что умираете?

— Совершенно верно.

— Тогда, к сожалению...

— Что?

— Это будет стоить шесть миллионов.

— Как так?

— Видите ли, — объяснил убийца, напирая на профессиональную сторону, — это делает работу особенно опасной: а вдруг ради внезапности придется действовать в невыгодной обстановке?

Синьор Т. помолчал, мысленно восхищаясь его серьезностью, вновь прикинул свои финансовые возможности и наконец решил:

— Шесть так шесть. Сумму мы обговорили. Что еще?

— Учтите, я ставлю для себя срок — скажем, год. Надо, чтобы вы больше не думали про это, вроде бы забыли. А то какой же тут сюрприз?

— Но мне не терпится умереть!

Убийца зловеще хихикнул.

— Придется запастись терпением. Хорошая работа требует времени. Вы ж ничего от ожидания не теряете: раз человек знает, что умрет, не все ли ему равно, как у него жизнь складывается?

— Это чересчур долго — жить еще целый год.

— Дело хозяйское. Шесть миллионов, год сроку.

— Я готов! — закричал Т. — Когда начнем?

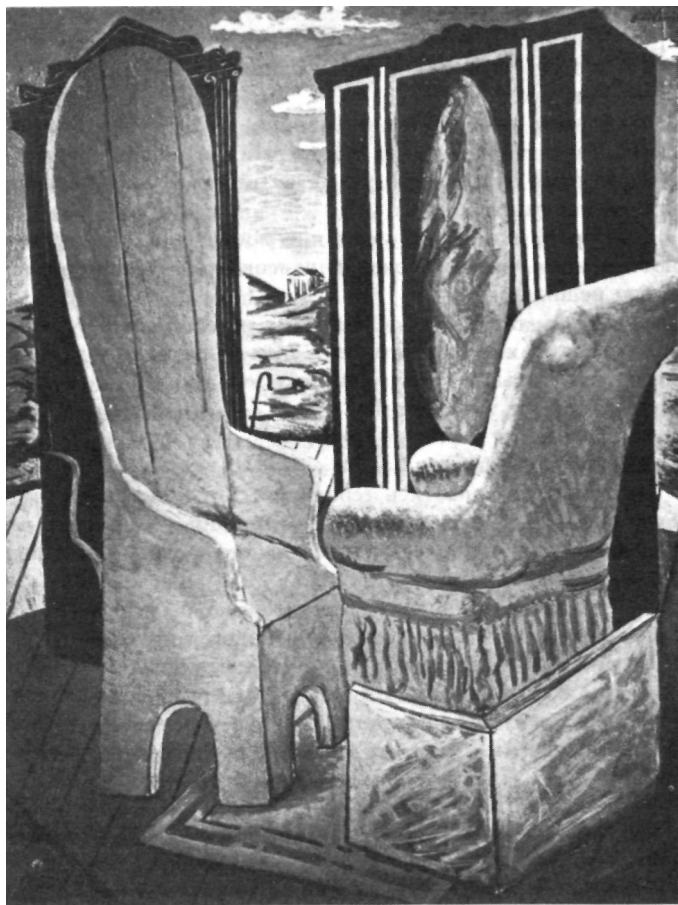
— Вы хотите сказать, с какого времени отсчитывать год? Ну, сперва дайте мне получить с вас шесть миллионов. Само собой, наличными. Платить мелкими купюрами — по тысяче лир.

— Ишь как все продумано!

— Такая у нас работа, — скромно улыбнулся убийца, обнажая лошадиные зубы. — Мы люди честные.

— Что ж, заглядывайте завтра утром, я приготовлю деньги. Пойдите... а вдруг вы потом...

— Придется вам рискнуть, — на лету ухватил его мысль наемный убийца. — Или хотите, чтобы я рисковал, вернее, чтобы остался на бобах? Вряд ли вы сумеете расплатиться со мной после окончания работы: вас уже не будет в живых.



Мебель в долине. 1927.



— Можно что-нибудь придумать...

— Я не такой дурак, уж извините.

— Ну тогда будь по-вашему, — сдался Т., представив, как это нелепо — хотеть, чтобы тебя убили, и бояться, не обманут ли.

— С другой стороны, разве вам недостаточно моего слова? — продолжал наемный убийца.

— Вполне достаточно. Да и выбора у меня нет.

— По рукам.

— Вот и отлично. Стало быть, завтра утром здесь, в... Банки работают с половины девятого... В девять?

— В девять.

Наемный убийца встал, потянулся, сказал, подводя итог:

— Положитесь на меня. А пока что спокойной ночи.

И выскользнул, будто кот в привычную лазейку.

## 2

Легко себе представить, во что превратилась жизнь Т. начиная со следующего утра (когда наемный убийца точно в назначенный час явился за своими миллионами). Да, Т. по-прежнему хотел умереть, не видя иного избавления от своих невзгод, но то, что каждая секунда могла стать последней... В общем, одно дело мечтать о смерти и убеждать себя в невозможности жить, другое — заранее примириться со смертью и спокойно ее дожидаться. Т., нелишне повторить, хотел умереть, но вместе с тем он не забывал забаррикадироваться на ночь, вздрагивал при малейшем подозрительном звуке, бледнел при виде собственной крови, порезавшись безопасной бритвой. Так или иначе, он ждал чего-то от жизни, только чего — неизвестно. А слепые надежды не всегда остаются втуне.

Дни сменялись днями, не принося страшной, решающей перемены, и, обманутый в ожиданиях, Т. опять привязался к жизни; во всяком случае, он приноровился жить спиной или боком, по примеру иных охладевших супругов, когда для них невозможен побег из семейной тюрьмы. Да,

это была своего рода капитуляция, и все равно в нем сидела тоска, тем более мучительная, чем менее невероятным представлялось ему (в любом проявлении) возобновленное сожителство с жизнью. Короче говоря, он источал тоску всеми порами; он превратился, если допустимо такое сравнение, в старый дырявый абажур — из тех, которые плохо прикрывают лампу (в нашем случае — душевные тревожения) и на которые непременно должен лететь мятущийся мотылек (в нашем случае — родственная душа).

Элементарнейшая осторожность подсказывала Т., что ему нельзя ни на минуту оставаться одному вне стен квартиры, превращенной им в крепость; и вот как-то ночью, когда ему не спалось, он нашел укрытие в нижнем баре многоэтажной гостиницы. В красноватом мерцании полусвета танцевали три-четыре жалкие пары; по другую сторону внушительной арки перед маленьким телевизором рядком сидела чинная публика, а дальше, за мраморными золочеными столиками, расставленными вдоль стен, выпивали и беседовали еще какие-то люди (хорошо одетые, несколько сомнительного вида). За одним из столиков, с угрюмо-потерянным видом, в одиночестве сидела молодая женщина; и вот она словно бы нехотя задержала рассеянный взгляд на человеке, которому явно было не по себе. То он, опираясь на локти, по-вертеровски сжимал голову ладонями, то подносил бокал к губам, чтобы снова поставить, не сделав ни глотка, и беспрерывно вздыхал — в общем, налицо были все признаки страдания, страха и опять же тоски.

При обычных обстоятельствах разборчивый Т. дал бы себе труд оглядеть с головы до ног незнакомку — случайного товарища по одиночеству, толкающему людей на стезю порока, но в этих условиях он лишь отметил про себя, что она не уродина и — под стать его настроению — в меру меланхолична. Он стал посматривать на нее чуть бесцеремоннее и увидел, что она отвечает на его взгляды вполне сочувственно, одобрительно. Вскоре, как бы с обоюдного согласия, они оказались рядом у глянцевитой стойки — массив-

ного резного сооружения, — где или откуда взял начало разговор такого рода:

— Добрый вечер.

— О, добрый вечер, синьорина!

— Виски решили добавить?

— Нет-нет... То есть да. Хотя... гм... тут бы чего покрепче, чем виски!

— Я сразу поняла, что у вас неприятности. Да и у меня, знаете...

— Вы угадали. Я жду смерти.

— А кто ее не ждет? — отозвалась женщина, задумчиво склонив голову.

— Так, как я, — никто.

— Это почему же? Вы что, очень больны?

— Ничего подобного. Я жду убийцу — с минуты на минуту.

— Вы имеете в виду парку или господ бога?

— Да нет же, настоящего убийцу. Наемного.

— Что вы говорите!

И он, радуясь возможности облегчить мучившие его страхи, во всех подробностях поведал отнюдь не прекрасной незнакомке свою недавнюю историю.

### 3

Пропустим теперь месяц-другой, и мы увидим влюбленную парочку — вроде жениха и невесты. Возвращаясь к доводам, которые она нашла в тот первый вечер, женщина доказала ему как дважды два четыре, что — убийцы там или не убийцы — каждый из нас живет под страхом смерти, однако это еще не причина для отказа от собственной доли счастья, а скорее даже основание ни от чего не отказываться. И он, отбросив, хотя и не сразу, колебания, отдался в конце концов новым для него и потому, можно сказать, девственным чувствам. Сознание хрупкости и недолговечности счастья придавало блаженству Т.. особую сладость. Впрочем, он реже и реже вспоминал о своем трудном поло-

жении: женщина строила планы на будущее, и он ей в этом не мешал, хотя его по-прежнему угнетало неотвязное чувство тревоги.

В одну из тех ночей, когда они поклялись друг другу во всем, в чем принято клясться между влюбленными, и Т. вернулся домой, беззаботно насвистывая, забыв и думать о сделке, стоившей ему шести миллионов л и р , — в одну из таких ночей дверь столовой беззвучно повернулась на петлях и его вытаращенным от удивления глазам предстал убийца. Как удалось ему проникнуть в квартиру? И неужели он пожаловал, чтобы?.. Боже мой, теперь, когда...

— А, вы... ты... пришел отрабатывать гонорар?

— Скажете! — добродушно усмехнулся у б и й ц а . — За кого вы меня принимаете? Уговор дороже денег: да если б я пришел убивать, вы б меня и не увидели.

— В таком случае что вас привело?

— Решил на жертву свою глянуть. И заодно показать: ваши предосторожности ничего не дают. Главное же, интересуюсь, что вы потеряете, когда, так сказать, уйдете из жизни.

— А вдруг я?.. Мне все равно придется уйти, даже если?.. — пролепетал бедный Т.

— Черт побери! — возмутился гость, как всегда понимая с полуслова. — Я ведь подрядился и плату вперед получил. Чего мне еще надо? Это вам надо, вам причитается.

— Ну а если бы я сам попросил...

— Я дал слово и сдержу его. Имею право, — серьезно заявил у б и й ц а . — Не говоря уж о том, что это для меня дело чести. Я жажду крови, прошу не забывать.

— О небо, но мне кажется, вы в курсе моих дел, и потому теперь я вас умоляю...

— Что-что? Вы хотите, чтоб я оставил себе деньги и не выполнил вашего поручения?

— Да, так.

— Но это противоречит моей профессиональной этике!

— Умоляю вас! — в отчаянии повторил Т.

Убийца молча впился в него своими пронизывающими глазами.

— Любовь? — ухмыльнулся он.

— Да.

— Разделенная? Вы счастливы?

— Да! Да!

— Ну что ж, тем х у ж е , — отрезал о н , — раньше нужно было думать, сейчас вас уже могло не... Короче, сожалею, но меня это не касается.

— Подождите!

— Подождал бы, да время в ы ш л о , — мрачно изрек собеседник, медленно, словно в нем три метра роста, поднимаясь с кресла (Т. вспомнилась одна долговязая дамочка, которая говаривала: «Другая десять раз успеет подняться, пока я встану»).

— Красивая? — поинтересовался убийца.

— Не сказал бы. Любимая — это верно. Да, любимая.

— Выходит, раскаииваетесь?

— Вы имеете в виду соглашение с вами? Еще как раскаииваюсь!

— Отчаиваться — последнее дело. Я про тот раз, что вы к моим услугам прибегнуть решили. Никогда не надо отчаиваться, поняли? Никогда.

— Значит, вы меня обнадеживаете?

— Я? Да разве я могу? Теперь уж поздно! Я хотел сказать, что вы тогда не должны были отчаиваться, только и всего. Но это пустая болтовня. До свиданья... до последнего свиданья.

— О, прошу вас, еще минутку, у меня к вам один вопрос.

Убийца поднял палец.

— Слышите?

С улицы доносились неуверенные пока еще звуки, которые обычно предвещают день: хлопанье дверей, насвистывание первых разносчиков хлеба, харкающий кашель черно-рабочих, направляющихся на стройку.

— Бьюсь об заклад, уже светает.

— Неужели! — поразился Т., бросаясь к окну и раздвигая шторы. — Нет, еще темно, можете не торопиться.

Ответа не последовало. Обернувшись, Т. увидел... вернее, ничего не увидел. Убийца исчез.

4

К вопросу, который Т. не успел задать своему удивительному палачу, убийце, нанятому им для себя самого, он вернулся в разговоре с подругой:

— Этот тип не принимает никаких доводов и не хочет отказываться от работы даже при условии, что шесть миллионов останутся у него в кармане без кровопролития — нравится или не нравится мне это слово. Знай твердит про свою профессиональную этику, да еще и похваляется жаждой крови.

— Ну и пусть, а ты все равно не падай духом, — ответила женщина. — Будешь осторожнее — разве это так трудно? Конечно, если ты дашь ему свободно разгуливать по квартире...

— Ничего себе свободно! Двери и окна заперты, я тебе уже говорил, да и сигнализация включена. Поверь, это не человек, а дьявол: будто из-под земли появляется.

— Ишь ты, как сама Смерть!

— Вроде того.

— Ладно, ну и в чем же вопрос?

— А вот в чем. Предположим, чисто теоретически, что мне удастся избежать встречи с моим палачом до конца, то есть до истечения условного срока — ты знаешь, у нас с ним уговор на год, — и как он тогда себя поведет?

— Может, никак.

— Ах, может? Хочешь, чтобы моя жизнь зависела от *может!*

— Тебя интересует, что будет, когда кончится год, — останется ли ваше соглашение, или уговор, в силе, так ведь?

— Так.

— Гм... надо бы его спросить.

— Я думаю! Только где мне его искать? Наемного убийцу не застанешь в кафе, как знакомого писателя, кото-

рый сидит за своим столиком, уткнувшись в Маркузе.

— Дождись его, он появится.

— А если это будет в последний раз? Если я его даже не увижу — в том смысле, что не успею увидеть, умру раньше?..

— Послушай, — перебила она не без обиды в голосе, — представь себе человека, который согласился бы жить лишь при условии, что ему гарантируют бессмертие, да и жил бы, будто делает кому-то одолжение!.. Тоже мне! Ты счастлив? Вот и наслаждайся счастьем, вместо того чтобы о худшем думать. Нашим общим счастьем.

Он что-то пробормотал себе под нос, однако вынужден был признать, что она права.

И действительно, как они были счастливы! И как долго, аж три месяца! Иным покажется, что это немного, но за три месяца можно прожить целую жизнь, и счастье измеряется не временем. Но в дальнейшем, что верно, то верно... И вот вам обычная история, когда некий злорадный голосок спрашивает: «Ну что? Кончилось, значит, их счастье?» О господи, как будто счастье существует само по себе и может быть вечным! Если бы так!

Да, через три месяца все повернулось к худшему. Т. не узнавал свою подругу и, по-прежнему горячо в нее влюбленный, отчаянно страдал. А она вскоре попросту изменила ему: нашла себе более подходящего дружка — помоложе и не такого нытика, в результате чего муки Т. вылились в отчаяние, в жажду сгинуть, в желание умереть (как было вначале).

## 5

Все это время убийца не показывался. Зато он пожаловал, со своей обычной таинственностью, в ту ночь, когда Т. совсем было надумал (не знаю, можно ли в данном случае так выразиться) подложить ему свинью — иными словами, покончить с собой. Уточним: Т. сидел за письменным столом, на полированной поверхности которого чернел пистолет.

Убийца вынырнул из темноты.

— О, наконец-то! — увидев его, закричал Т. — Слава тебе господи! Вы пришли действовать?

— С чего это вы взяли? — обиделся вошедший. — Разве вы еще не поняли? Я вроде грома, — с удовольствием объяснил о н , — а грома глупо бояться, ведь человек его слышит, когда опасность молнии уже позади.

— Так какого рожна?..

— Сам не знаю: может, дело в моем странном характере, может, мне приятно видеть вас довольным, счастливым. Понимаете, тогда в работе больше смаку. А убивать людей, которые мечтают умереть, — все равно что благотворительностью заниматься.

— Но кто вам сказал, что я счастлив! — запротестовал Т. — Я вас дождаться не мог, звал изо всех сил, вот...

— Неужели? — притворно удивился убийца. — А каких-нибудь два-три месяца назад вы умоляли меня отказаться от уговора, от моего права убить вас, предлагали мне грязную сделку...

— Что поделаешь! С тех пор столько воды утекло, всё теперь против меня, сама жизнь против, необъяснимая, невообразимая, невыносимая, — не жизнь, а нагромождение обломков, прибитых к плотине на повороте реки. Словом, на сегодняшний день я хочу умереть и прошу вас не откладывать. Действуйте.

— Э, спокойствие: позавчера вы хотели умереть, вчера не хотели, нынче опять хотите... Поди тут разберись!

— Но простите, вам и не надо ни в чем разбираться, ваше дело — выполнить работу, за которую вам уплачено. Вот и выполняйте, слышите!

— Верно, верно. Только позвольте полюбопытствовать: а не получится, что еще через три месяца вы опять захотите жить — не меньше, чем сегодня хотите умереть?

— Наглый вопрос! Может, и так. Но желание жить предшествовало бы последующему желанию умереть... и, значит... вы меня понимаете? Жизнь имеет смысл лишь тогда, когда не признает смерти, а в противном случае все это несерьезно.



— Ну, если смотреть с такой точки зрения, то конечно...

— Впрочем, я думаю, это исключено.

— Исключено, что можно опять стать счастливым? Надеюсь, вы не правы. Пока до свидания.

И убийца снова исчез.

## 6

Как бы там ни было, дела у Т. и в самом деле вскоре пошли на лад. Правда, теперь уже не на любовном фронте, а на денежном, но ведь в известной степени деньги способны заменить любовь.

Однажды утром, бесцельно бродя по городу, он оказался перед зданием Биржи. «Интересно, почему не бывает биржевых зданий без колонн, будто биржи — это храмы (они и есть храмы). А тут не просто колонны — древняя колоннада, два тысячелетия!» Вот о чем думал он, переступая порог, больше ни о чем; следовательно, его влекло любопытство, а не практические соображения: он даже не вспомнил, что является обладателем значительного количества акций Н. (вверенных когда-то некоему маклеру и вскоре катастрофически упавших в цене).

Внутри — толчея, иступленный гвалт, и над толпой — табло, на котором кто-то каждую минуту отмечал меняющийся курс акций со всеми повышениями и понижениями. Т. принялся разглядывать табло, решительно не разбираясь в экономических перипетиях, как вдруг почувствовал, что за ним наблюдают. Он повернулся: рядом стоял человек в черном и пытался угадать направление его взгляда.

— Занятно, а?

— Ни капельки. Я ведь так, из чистого любопытства.

— Но, если не ошибаюсь, вы смотрите на Н.?

— Н.! — повторил Т., до слуха и сознания которого лишь сейчас начало доходить, что его акции, хотя и ничтожно, все же котируются в списке.

— Они у вас есть, да? — не отставал субъект в черном, и при этом у него был вид заговорщика.

— Гм, сколько-то есть, только что от них проку!

— Ошибаетесь, — шепотом объявил черный. — За сегодняшний день Н. должны подняться на много, очень много пунктов. Я стреляный воробей и знаю, что говорю и что делается в верхах.

Т. было все равно, от верхов он, понятно, ничего не ждал — ни хорошего, ни плохого, однако он оценил выгодную ситуацию и спросил, по-прежнему недоверчиво:

— Так вы хотели бы купить у меня акции Н.? — (О, как давно он мечтал от них избавиться!)

— Не сходя с места. Любое количество — хоть миллион!

— Столько у меня нет.

— А сколько есть?

— Кажется, две тысячи.

— Беру.

— За наличные? — проямлил Т., приходя в ужас от собственной смелости.

Черный вынул из заднего кармана чековую книжку и помахал ею.

— Не торопитесь. А какая ваша цена?

Тот назвал умопомрачительную цифру... Оставалось захватить к маклеру и взять у него акции, после чего сделка была совершена.

И теперь Т., не успев толком ничего понять, не зная даже имени своего благодетеля и не разбираясь в таинственном механизме, благодаря которому жалкие акции Н. столь подскочили в цене, купался в золоте, каковое купание, не станем отрицать, неизменно приятным, утешительным и (по многочисленным свидетельствам) укрепляющим образом действует на душу, то бишь на моральное состояние человека.

Умереть, мечтать о смерти было бы в этих условиях глупостью, если не безумием, а посему к чертям убийцу, следящего за ним исподтишка! С такими деньгами ничего не стоит купить его второй раз, заставить забыть про уговор... «Хотя, учитывая закваску этого малого, уломать его будет непросто», — на секунду усомнился Т.

В итоге — отличное настроение, состояние полной эйфории, а это уже опасно. Богатство досталось Т. чересчур легко; кроме того, история с акциями, и в самом деле подскокившими до головокружительной цены, соблазнила его на такие спекуляции, для каких у Т. не было ни опыта, ни таланта. Иными словами, Т., который бросился играть на повышениях, на понижениях, неизвестно на чем, обнаружил в один прекрасный день, что у него ни гроша.

Просадить столько денег! Да, бывает. И вот он опять без надежд на будущее, без утешителей, без утешительниц... «Хорошо еще, что год на исходе, — подбодрил себя Т., — убийца не должен подвести, он человек порядочный».

А до истечения годового срока еще оставалось больше месяца. Правда, рассказывать, в каком кошмаре, в каком отчаянии провел Т. этот месяц, не входит в нашу задачу.

## 7

Пришел последний день, а с ним и убийца.

— Сегодня последний день, — напомнил он для начала.

— Слава богу! — закричал Т. — Как видите, я готов.

Странно, но убийца казался растерянным.

— Есть кое-какие неясности, — буркнул он.

— А именно?

— Вы... да я уже вам говорил... то вы хотите умереть, то нет: у вас семь пятниц на неделе.

— Вот оно что! Тогда я тоже повторю: а вам-то не все равно?

— В свое время я высказывал свои соображения, — возразил убийца. — К примеру, если я убираю вас, когда вы хотите умереть...

— ...то в работе недостает смака, я помню. Что же вам помешало убить меня, пока я был счастлив?

Убийца, который и впрямь был в этот вечер не в своей тарелке, уставился на острые блестящие носы собственных башмаков. Когда он наконец ответил, его слова ошеломили Т.:

— Мне не хватило смелости.

— Что?! Вам, такому, как вы, не хватило смелости... И прочее, и прочее.

И убийца, дав схлынуть высокой волне удивления (или волне высокого удивления), подтвердил:

— Должен признать, к своему стыду: убить вас мне не хватает смелости.

— О господи, как же так? — (Все равно что задать этот праздный вопрос другу, который признался вам, что стал импотентом.)

— В общем, не надо бы мне браться за это дело, зря согласился.

— Позвольте, но почему?

— В общем, по нашему уговору получилось, что я должен быть в курсе вашей жизни, все время про вас помнить, как бы в ваше положение входить.

— Ну и что?

— Ах, дорогой друг, разве не понятно? Жизнь, человеческая жизнь, какова бы она ни была... Нет уж, увольте, откровенно говоря, это не для моих мозгов, и я не смогу объяснить, нипочем не смогу! Слишком это сложно, запутанно... Смекаете?

— Представьте, нет. Но не в этом суть.

— В этом, в этом. У любого дела, даже такого, как человека убить, свои правила есть... Ну и еще тут одна загвоздка имеется.

— Какая такая загвоздка?

— Мы с вами похожи.

— Вот оно что! Весьма польщен.

— Не надо. Просто когда-то я вроде вашего скис из-за женщин и прочих неприятностей. А потом... потом опять... и после этого снова...

— Вы хотите сказать, что вас тоже непонятным образом швыряло то вверх, то вниз: радости сменялись бедами, горе — блаженством, да?

— Да, только когда вы говорите, у вас складно получается, лучше, чем у меня... Поэтично, именно что поэтично!

Но для Т. все сводилось к одному: этот тип ускользал от него, ускользала единственная надежда (в данном случае — надежда умереть). И все же он взял себя в руки.

— Ну вот, теперь еще и поэзия! Баста, пора перейти от слов к делу, выполняйте уговор.

Убийца неуверенно хмыкнул.

— Успею. Срок истекает в двенадцать ночи.

— Пусть будет так, согласен. Тогда уходите и возвращайтесь: хотите — незаметно, хотите — открыто, как вам заблагорассудится. Только прошу вас, не подводите меня... Главное — знать, что эта полночь станет последней.

— Черта с два! — выпалил убийца, прибегая к дополнительным ресурсам родного языка (не иначе как от полноты чувств). — Да будь у меня сроку хоть до конца света, все равно теперь мне вас не убить!

— Какая муха вас укусила? Что это за шутки такие? Но позвольте вам сказать... Или лучше сами скажите, что происходит. Вы знаете, чего я от вас хочу, отлично все знаете, я хочу умереть, должен умереть, вот уже год, как вам это известно... Ну?

Убийца прятал глаза, поглаживая усы ногтем большого пальца. Наконец он сказал извиняющимся тоном, словно боясь обидеть своего клиента:

— А то происходит, что я верну вам ваши шесть миллионов, они вам не помешают, глядишь — все образуется, и тогда...

— Нет! — завопил Т. И еще громче: — Нет, нет! Вы надо мной издеваетесь, это уж слишком! Я хочу умереть, я заплатил вам, чтоб вы меня убили, и вы после этого думаете, будто я позволю вам оставить меня в живых, разрешу обязательства нарушить, да еще и вознаграждение за это возьму! Э, нет, милостивый государь, у меня ведь тоже есть... профессиональная этика: этика самоубийцы, жертвы, я бы даже сказал...

Но тут произошло такое, что мы, ради эффектной концовки, оставляем для следующей — заключительной — части.

Они посмотрели друг на друга и... рассмеялись — неудержимо, судорожно.

— Не тут-то было! — заливался наемный убийца, корчась и притопывая ногой. — Ни-ни... даже не думайте... ха-ха-ха, ой, лопну со смеху... и не думайте уступать!..

— Кому еще, ха-ха-ха, кому? — насилу выговорил Т., побагровев от хохота.

— Себе, ему, им, жизни!

— Ах нет, ах нет? Не надо?... А как же тогда?

Увы, ответ на этот вопрос ко многому обязывал, потому убийца и не ответил. Неожиданно перестав смеяться, он знакомо потянулся.

— Будьте здоровы. Замнем до следующего раза. Шесть миллионов я положу завтра утром на ваш текущий счет. Всех благ!

Т., внезапно отрезвев, еще пытался что-то возразить, но точку в их разговоре все равно поставил убийца:

— А собственно, чего вы боитесь? Какая вам разница, кто вас пустит в расход — я или другой наемный убийца?!

# Аллегория

— Уф, будь оно неладно!

— В чем дело, люди добрые?

— Неужели не видите? Спрашивается, как можно заставить лодку двигаться по земле — даже по равнине. Замечаете? Не на паруса же рассчитывать, когда киль тормозит. А ехать, как мы — веслами отталкиваться, — недолго и окочуриться!

— Ага, понимаю... Хотите, помогу?

— Спасибо, не откажемся. Нет, все одно ни с места, а если и ползем, так еле-еле. Сколько же у нас дорога займет?

— Вот и я смотрю, надежнее, наверно, пешком.

— Еще бы, да простит мне господь!

— Главное — не горячиться. Вы налегайте на весла, а я буду подталкивать.

— Очень любезно с вашей стороны... Только проку-то что: в лучшем случае на сантиметр-другой продвинулись, не больше.

— Терпение. Делать нечего — попробуем сначала.

— Терпение, да? При том, что мне иной раз такие мысли в голову приходят... такие мысли...

— Какие?

— Дикие, не спорю.

— Говорите, говорите, я не из тех, кто с пеной у рта защищает правительство, порядки, общественное устройство. Можете говорить откровенно.

— Ну так вот, на что это похоже?

— Что именно?



Чудесные кони Ахилла. 1963.



— Да ведь я все о том же: с какой стати мы должны ездить по суше на этой посудине?

— И впрямь...

— Возьмем другой пример: человеку нужно переправиться через реку, озеро, с одного берега на другой, и на чем ему, по-вашему, ехать?

— Говорите, я слушаю.

— Будто сами не знаете! На машине!

— Действительно!.. Только, пожалуйста, не надо так громко: лично у меня нет ни малейшего желания смотреть вместе с вами на родное небо через решетку.

— Решетка не решетка, все равно буду кричать. Сплошная дикость!

— Может быть, может быть.

— Не может быть, а точно! Скажите, у машины что есть?

— Как что?.. Ну, мотор.

— Здравствуйте! Я имею в виду — снизу.

— Снизу? Колеса.

— Вот именно — колеса. Теперь пораскиньте мозгами.

— Простите, не улавливаю.

— А у лодки чего нет, опять же снизу?

— Полагаю, вы и тут намекаете на колеса.

— Угадали.

— Ну и что?

— Что, что! Думаете, я боюсь? Ошибаетесь, господин хороший!

— Да нет, я так не думаю. Бойтесь чего?

— Называть вещи своими именами.

— Ну, я вижу, у вас язык без костей. Продолжайте.

— Как могут колеса ехать по морю или вообще по воде?

— Что правда, то правда.

— А как может киль двигаться по суше?

— И это верно.

— Так чего же вы испугались?

— Я? Нисколько. Просто хочу понять, куда вы клоните.

— Ясно куда. Или, по-вашему, я собираюсь дать задний ход перед...

— О боже, опять двадцать пять! Перед?..

— Перед установленным порядком и целым рядом из ряда вон выходящих предписаний, исходящих от властей пресдержажших.

— Да нет же, успокойтесь.

— Либо готов отступить перед тем, что может не понравиться ортодоксам, перед железобетонными нормами пресловутого здравого смысла?

— Нет, что вы, продолжайте ваше рассуждение.

— Так вот, у лодок есть киль, а у машин — колеса.

— Согласен. Ну и что из этого?

— Только, чур, не подпрыгивать от удивления, не кривиться, не пожимать двусмысленно плечами, не покрываться испариной, не падать в обморок и все такое прочее!

— А я и не собираюсь.

— Вот и отлично. И поскольку я вас спрашиваю: разве не было бы естественнее, проще, боле... более...

— Черт возьми! Ну?

— Не знаю, как и сказать.

— Говорите как есть, слушатель я благодарный, мне все интересно.

— Друг!

— Можете считать меня другом.

— Друг, а не проще было бы...

— Или договаривайте, или катитесь подальше!

— А не проще, не естественнее и так далее и тому подобное...

— Все! Мое терпение лопнуло!

— Минутку. Разве не было бы и так далее и тому подобное ездить по суше на машинах, а по морю на лодках? Тогда кили вторых легко бы скользили в воде, а колеса первых с тем же успехом крутились бы по земле!

— Но позвольте... Вы отдаете себе отчет?..

— Прицепились-таки! А ведь я чувствовал.

— И это вы называете прицепиться! Да я возмущен, во мне все кипит, я не верю своим ушам.

— Ей-богу, чувствовал. Но разве вы сами не вызывали меня...

— На откровенность? Всему есть предел. Уж не намерены ли вы?..

— Нет, не намерен, я просто отмечаю. И если вы вдумаетесь...

— Ни во что не собираюсь вдумываться и вам не позволю... Нечего сказать, дал втянуть себя в историю: этот субъект обыкновенный... обыкновенный подстрекатель...

— Замолчите, вы меня погубите. Беру свои слова обратно.

— Слишком поздно! Мой долг заявить на вас куда следует, разоблачить вас... разоблачить...

— Сколько угодно — хоть раз облачайте, хоть десять! Ах, умри Самсон с филистимлянами!

(Ну и ну! Никогда не знаешь, на какого психопата наскочишь!)

## Фрагмент, лишенный смысла

— Какого черта ты притащилась? — заорал я в исступлении. (Она приехала совсем недавно, и я встретил ее жуткой сценой, от которой все еще не мог отойти.)

— Ради т е б я , — ответила она спокойно.

— Вообразила, будто я нуждаюсь в твоём присутствии?

— Не то чтобы в присутствии — во мне.

— С чего это вдруг?

— Так.

— Почувствовала, значит?

— Допустим.

— Тогда почему раньше не приехала?

— Потому что раньше не чувствовала. К тому же ты так быстро уехал, что я поняла: тебе надо побыть некоторое время одному... Ну да что там, как все славно, правда?

— Неужели?

— Ого, да ты уже больше не споришь: значит, я действительно была тебе нужна?

— Откуда это ты взяла? — снова взорвался я, кусая от ярости губы. — Ну хорошо, представим на мгновение, что ты и впрямь мне нужна. Признайся, разве ты приехала бы только поэтому?

— Ну, и потому еще, что мне самой...

— Прелестно, ай да ответ!

— Н о , — заметила она рассудительно, — то, что я была тебе нужна, еще ничего не значило, если бы ты тоже не был мне нужен.

— Да вы только послушайте: говорит как по-написанному! А вообще-то, — просопеля, — я вижу, ты подобрела: кое-

что уже соображаешь, терпения поприбавилось. С чего это вдруг?

— Разве я не могла успокоиться и прийти в себя за все то время, что была одна?

— А я как сейчас помню, что передо мной была настоящая гадюка.

— Может быть, может быть. Но, однако же, я здесь.

— Здесь-то здесь, да этого еще мало. Обойдусь и без тебя!

— Ну-ну, я тебя понимаю: ты снова погрузился в холостяцкую жизнь; конечно, в чем-то она удобнее. И, естественно, пока ты опять не привык ко мне или еще к какой-нибудь...

— Глянь-ка, мы еще и рассуждаем, да как складно! Знай: этим ты только все портишь. Последний раз тебя спрашиваю: с чего это ты такая паинька?

— Что-то я не понимаю: гадюка тебе не по душе, паинька тоже. Странно.

— Ничего странного, черт побери! Я так привык к тому, что ты постоянно меня изводишь и унижаешь, что, когда по чистой случайности этого не происходит, я настораживаюсь и жду подвоха.

— Значит, ты подозреваешь, будто я прикидываюсь такой тихоней, а на самом деле затаила какую-нибудь гадость?

— Не подозреваю, а уверен! Ну, почти уверен.

— Боже правый, это мне за грехи. Ладно, давай дальше.

— А дальше вот что. Я могу сказать, почему ты со мной такая паинька: потому что ты мне изменяешь!

— Я так и думала, что ты так подумаешь.

— Не морочь мне голову всякой белибердой. Это правда?

— Нет.

— Нет? Подойди к свету, посмотри на меня... Это правда?

— Нет. А позволь узнать, с кем это я должна тебе изменять?

— Не строй из себя дурочку: с Амброджо.

— С каким Амброджо?

— Ты прекрасно знаешь, с каким! С мужем твоей дражайшей подруги Анны.

— Ах да, конечно. Я догадывалась. Фу ты, нелепица какая!

— Нелепица?

— Нашел на кого подумать: рожица с кулачок, весь сморщенный, а рот-то, рот, как у мышонка.

— Ну и что?

— А то, что мне нравятся лица крупные, благородные, как у тебя.

— Ты считаешь, я все это вот так вот проглочу и не поморщусь? Разок попробовать готова каждая... даже лучше, если... Но я-то знаю: чтобы ты сделалась таким ангелочком, одного мимолетного грешка еще мало. Нет, здесь другое. Ты нутром чувствуешь, что виновата передо мной. А все потому, что, видит бог, ты счастлива с ним. Все потому, что изменяешь мне, да, изменяешь!... А коли так, то я снова спрашиваю: что заставило тебя приехать? Жалость? Долг?

Словом, как это часто случается в пылу ярости, давнишнее подозрение обернулось вдруг поводом для зацепки. В одно мгновение я осознал, не без внутреннего смятения, что пустячная с виду зацепка становилась, уже стала для меня чем-то крайне существенным, жизненно важным. Теперь мне казалось, что я не успокоюсь, пока не выясню все до конца: изменяла она мне, изменяет?

Я принялся рассуждать: такая возможность, сказал я себе, в принципе была вполне вероятна, то есть, по сути, оставалась пока на уровне допущения, а следовательно, могла быть и одной из наименее вероятных. И ни к чему не вела (попытка рассуждать). Одновременно я думал о том, что все равно не смогу получить документального или свидетельского подтверждения своей догадки и что в лучшем случае вынужден буду довольствоваться стилистическим или текстовым анализом. Я схватил эту женщину за хрупкие плечики, такие нежные и гибкие, что, казалось, они вот-вот книгоподобно сложаются на груди, и жадно впился в нее взглядом.

— Ты изменяешь мне с Амброджо?

— Я же сказала: нет.

— А с другими? (Но допустить, что она изменяла мне с другими, было еще невероятнее; думать так было гнусно и дико.)

— Нет.

— Может, что-нибудь добавишь?

— А что тут добавлять?

— Еще есть время оправдаться.

— В чем?

— Значит, все-таки ты виновата?

— Наоборот: совершенно невинна.

— Невинность всегда боязлива, невинный оправдывается, виноватый — никогда... Посмотри, посмотри мне в глаза.

— Смотрю. Только напоминаю, что этот опыт мы уже проводили.

Но что же мелькнуло в ее глазах? Пустота? Страх? Или низость? С одной стороны, точнее, с одной точки зрения, ее глаза светились чистотой и непорочностью, с другой... Разве не была эта смесь благородства, независимости, чуть ли не великодушного вызова, униженной гордости и почти ужаса свойственна любому человеческому взгляду? И еще: было или не было то, чего я боялся (хотя, может, это и не совсем подходящий глагол) всем своим нутром?

— Амброджо? — крикнул я.

— Амброджо! — бросила она отрывисто. Но в ее ответе не прозвучало ясной интонации, скорее в нем чувствовалась усталость.

И тут я наконец понял, что ни ее глаза, ни слова, ни мои трижды пронизательные наблюдения ничего мне не дадут. Ответ таился не в ней, а во мне самом. Во мне самом, если и не на мой конкретный вопрос, мучивший меня еще несколько минут назад (первоначальное раздражение прошло, и во мне уже не было прежней желчности), то хотя бы на вопрос, касающийся общей ситуации, показателем которой, вернее, показателем зыбкости которой он стал... Как быть: может, и впрямь прогнать эту женщину подальше от себя? Или принять ее со всей ее двойственностью, ненадеж-

ностью, неопределенностью (что, с другой стороны, могло быть плодом моей фантазии)? Мне, и только мне надлежало решить это. Помощи ждать было неоткуда, да и не от кого. Но именно решить-то я и не мог.

Я резко оттолкнул ее, однако успел подхватить, не дав удариться о кровать. Тут я разразился почти истерическим смехом.

— Амброджо! И ты подумала... ты подумала... Да плевать я хотел на этого Амброджо!

— Что ж, тем лучше, — небрежно проронила она в ответ.

— Э, нет, дорогая. — Тут я почувствовал, что почему-то заговорил шепотом, и снова перешел на крик. — Ты что, действительно такая бестолочь? А может, ты того? Или снова издеваешься надо мной? Как ты не понимаешь, что могла и должна была приехать только при одном условии, с одним только даром в руках? Да, твой приезд имел бы смысл только в том случае, если бы ты принесла мне любовь!

— А с чего ты взял, что я не принесла тебе любовь?

Так она обычно отвечала в наши лучшие времена; это было уже чересчур! И не столько чересчур дерзко или нагло с ее стороны, сколько чересчур подходяще, то есть удобно для меня. Сейчас объясню. Я уже давно задумал и готовился как бы самоупраздниться, погрузиться на дно сумрачной действительности. Иными словами, я решил жить сегодняшним днем, превозмогая пока еще насущную для меня потребность упорядочивать вещи и события, толковать и предсказывать их ход (бесполезный и опасный багаж). Если же я еще не дошел или не сумел дойти в этом до конца, то единственно потому, что мне не представилось, скажем так, достаточно приемлемой возможности. И вот эта долгожданная возможность или подходящий случай наконец представлялись мне. В определенном смысле это был исключительный, решающий случай. От него могла зависеть и моя дальнейшая жизнь, коль скоро она была замешана в этой истории. Правда, все это казалось мне слишком уж легко



и доступно. Так что же, воспользоваться этой возможностью или с негодованием от нее отказаться?

Я знаю, что поступил как трус. Хотя нет, меня скорее даже осенило (я действительно мог бы разом сбросить с себя свою дряблую ношу, свою гордыню). Судите сами: ведь все, что я сейчас так сбивчиво рассказываю, произошло каких-нибудь полчаса назад... Короче говоря, схватил я эту мою или не мою женщину и принялся неистово целовать. Она вся обмякла в моих объятиях и лишь привычно про-бормотала: «Дурачок, дурачок!», далее — как обычно.

Но я все же не уверен, что был и остаюсь «дурачком». С другой стороны, я не хочу сказать, что она и вправду изменяет мне с этим Амброджо, нет, я хочу сказать... Что же я хочу сказать? Пожалуй, и я подчеркиваю эту мысль, иначе она показалась бы слишком поверхностной, вот что: если бы отречению от гордыни сопутствовали столь сладостные обстоятельства...

## Наперекосьяк

Ну вот и все. Мсть свершилась. А заодно и ограбление, тоже своего рода мсть, даже возмездие. Нельзя сказать, что это преступление содеяно (а точнее, совершено) по всем законам преступлений, скорее наоборот — вопреки им. Тем не менее его смело можно назвать идеальным преступлением, о котором может только мечтать каждый уважающий себя преступник. Были приняты все меры предосторожности, от простейших до самых хитроумных, если не сказать изощренных. Это преступление не останется безнаказанным лишь при каком-нибудь особо благоприятном стечении обстоятельств (как это часто бывает) хотя бы потому, что найти виновника будет попросту невозможно. Когда же в качестве последнего штриха в руки убитого будет вложено орудие убийства, всем не останется ничего другого, как по логике вещей поверить в самоубийство. Не говоря уже о том, что предпосылки самоубийства, его, так сказать, прообраз, были заранее созданы самим убийцей благодаря его тайному влиянию на финансовое и душевное состояние жертвы. Времени для этой последней операции, для последнего и решающего штриха, как, впрочем, и для того, чтобы без помех скрыться, было предостаточно: ночной сторож пройдет с обходом не раньше, чем через целых десять минут. А чего только не сделаешь за десять минут!

Если быть точнее, убитый уже держал в руках орудие убийства. Это была одна из наиболее продуманных мер предосторожности: как знать, может, не совсем правильный угол наклона, под которым был произведен выстрел,

и вызовет у этих спесивых всезнаек из отдела криминалистики какие-то подозрения. Ведь вначале убийца оглушил жертву, а затем, стоя у нее за спиной, соединил обе ее руки и заставил выстрелить себе в рот. Правда, уже в предсмертных судорогах убитый откинулся назад, разметав в стороны руки; пистолет остался в одной из них, а именно в правой, что, возможно, не соответствовало точному направлению выстрела. Кроме того, убитый, разумеется, зажал оружие в неестественной, насильственной позе: одно дело совершать что-либо по собственной воле и совсем другое — в состоянии частичной или полной потери сознания, да к тому же под воздействием чужих рук. Так или иначе, проверить положение рук большого труда не составляло. При необходимости можно было заставить труп принять исходное положение в момент убийства-самоубийства. Но убийца немедленно отверг такую возможность: эту партию он знал досконально. Знал он и то, насколько неточны и обманчивы оказываются, вопреки всяким обоснованиям, подобные попытки воссоздать (или смоделировать) изначальный ход событий. В конечном счете вечно что-нибудь да не сходится. Нет, труп должен оставаться на том же месте и в том же положении. Его вмешательство ограничится только тем, чтобы выбрать нужную руку и слегка поправить положение оружия. Как уже было сказано, большого труда это не составляло. Итак, за дело.

Но здесь убийцу неожиданно охватил ужас. Выбрать нужную руку! Легко сказать. Да, да, ведь выбор — теперь ему становилось ясно — был связан не только с выстрелом, его направлением и прочими техническими деталями, он играл куда более важную и решающую роль. Проще говоря, убийца вспомнил, что покойник был левшой. Одновременно, словно в ознобе, он содрогнулся от другого воспоминания... Постараемся быть еще яснее. В одном из своих прелестных рассказов Габорио \* выводит преступника,

\* Габорио Эмиль (1832—1873) — французский писатель, один из родоначальников детективного жанра в литературе.

который, подобно нашему, инсценировал самоубийство. И если бы не одна мелочь, он прекрасно преуспел бы в своем замысле. Там, как и здесь, убитый оказался левшой, поэтому убийца вложил ему револьвер именно в левую руку. Но полицейские не знали о том, что мертвый — левша, так что внешне неправдоподобная сцена самоубийства сразу вызвала у них подозрение, хотя на самом деле все было в высшей степени правдоподобно. В конце концов это обстоятельство привело к поимке преступника. Не будем сейчас подробно разбирать тонкости этого сюжета (где в итоге все строится на ошибке, а по сути дела — на истине и где, с другой стороны, показывается не только то, насколько губительна для успеха любого предприятия излишняя щепетильность, но и насколько неправдоподобной может предстать или оказаться на деле сама истина) и вернемся к нашему случаю.

Внезапное замешательство, которое вызвало у нашего убийцы воспоминание о рассказе Габорио, немало осложнялось еще и тем, что, насколько он помнил, убитый всегда стыдился (по необъяснимой причине) того, что он левша. И каждый раз старался скрыть это от окружающих. Поэтому вряд ли можно было допустить, что об этой его особенности знало много людей. Во всяком случае, она не могла быть известна настолько, чтобы долететь до ушей неизбежных в будущем следователей. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов наличие у них в большей или меньшей степени ума и прозорливости. Нет, «кроме того» тут ни при чем: все именно в этом и заключалось. Конечно, башка у них у всех соломой набита, это известно, но и среди них может оказаться человек достаточно проницательный, чтобы... Чтобы что? Да вся его хваленая проницательность ровным счетом ничего бы ему не дала, продолжай он оставаться в полном неведении о том, что убитый — левша. Минуточку, так тоже нельзя рассуждать, ведь...

Убийца вдруг почувствовал, как неумолимо бежит время, с каждым мгновением его оставалось все меньше и меньше. Однако в действительности есть большая разница между

осуществлением уже принятого решения и принятием самого решения. В первом случае бывает достаточно одного мгновения, во втором — иногда не хватает целой вечности. Не хватает по причинам двоякого порядка: во-первых, внутреннего, во-вторых, внешнего. Можно допустить, что по своим природным, субъективным данным человек не способен принять решение — зачастую таких людей отличает непоколебимая уверенность в том, что все само собой разрешится, значит, и голову нечего ломать. Вместе с тем допускается и объективная невозможность принять решение, то есть существование неразрешимой задачи. Но существует ли такая задача? А что, если вся ее неразрешимость только кажущаяся? Может, и возникла она из-за неверной постановки вопроса, или недостатка данных, или того и другого одновременно? Из чего можно было бы сделать вывод, что, хорошенько поразмыслив... Вы только посмотрите, с каким спокойствием предавался он философским размышлениям, теряя при этом драгоценное время! И тем не менее это не было праздным созерцанием, ведь нужно было решать, ну а для того, чтобы решать, следовало все же подумать. С другой стороны, времени на раздумье, а значит, и на принятие решения не оставалось. Но все-таки, несмотря ни на что, решать было необходимо и как можно скорее. Значит... Значит, хочешь не хочешь, а надо было думать, то есть надо было решать не думая. О боже, видно, убийца питал непреодолимое пристрастие к логическому мышлению, иначе он ни за что бы не оказался в подобной ситуации. Он попросту совершил бы это преступление, и точка, а там уж будь что будет: не он первый, не он последний. Убийца начинал терять к себе уважение; он обязан был сохранить свой шедевр, поэтому действовать наобум означало для него уронить свое достоинство. В конце концов, подобно многим другим, попадавшим в куда более тяжелые ситуации, он все больше запутывался в предпосылках, меж тем как минуты шли. Точнее, даже не в предпосылках, а в мотивациях решения. При этом почти не вникая в их



Тайные послеполуденные купания. 1958.

суть... И все же верно, что здесь, как, впрочем, и всегда, мотивации решения, да и мысли вообще были или есть сами решения и мысли, подобно тому как правильная постановка задачи уже означает ее решение. Суть явлений нельзя представить себе вне условий их протекания, а если и можно, то лишь временно и в общих чертах, на предварительной и хаотичной стадии. Значит, именно предпосылки имеют первостепенную важность. Даже нет, только они-то и важны... О, довольно об этом.

Прошло еще две минуты. Чистого времени оставалось пять минут, впрочем, нет, четыре с половиной, потому что не меньше тридцати секунд уйдет на то, чтобы пересечь просторный вестибюль, выйти к черному ходу, а через него — на улицу, точнее, на неосвещенные задворки. Он решил не поддаваться панике и быстренько обдумать все с самого начала. Но если что и не терпит спешки и попукания, так это как раз обдумывание. Совершенно бесполезно, к примеру, спешить куда-то в Венеции, если, конечно, вы не рассчитываете передвигаться исключительно на своих двоих. Там вы можете сколько угодно бегать и суетиться, но только это никак не ускорит и не отсрочит прибытие вашего парходика или катера. Мысль ведет себя подобно тем истеричным людям, движения которых становятся медлительны и неуклюжи по мере того, как их подгоняют и дергают. Так что обдумывание, которому наспех предался убийца, привело в конечном счете к невероятной путанице у него в голове, даже более того — к полному умопомрачению. Он взглянул на часы: прошла еще минута! Сделав над собой невероятное усилие, он попробовал, так сказать, обнажиться перед лицом собственной задачи, трезво и спокойно оценить ее и не давать клубку осложнений разматываться в мозгу с головокружительной скоростью. В первую очередь нужно попытаться расчленив задачу на составляющие. Но это было далеко не просто (особенно обнажиться и так далее). К тому же чертовски не хватало времени, хотя, с другой стороны,

как можно было расчленить и так далее без того, чтобы вначале...

Давайте посмотрим. Мы уже видели, что задача бывает неразрешима только в силу ее неправильной постановки или недостатка данных. Но разве можно быть уверенным в том, что оба эти обстоятельства не сольются в одно? А если и нет, то как в таком случае их различить? Иначе говоря, как определить, которое из двух является причиной неразрешимости? Тем более что, по большому счету, они мало схожи друг с другом как явления причинного порядка, по крайней мере их тяжело представить себе в одном качестве. В самом деле, абстрагируясь от их различной внутренней природы (по которой первое обстоятельство является правовым вопросом, а второе попросту отражает фактическое положение дел, если позволительно применить здесь подобную терминологию), мы видим, что второе обстоятельство определяет первое, первое же не влияет на второе. Другими словами, недостаток данных приводит к невозможности не только правильной постановки задачи, но и ее постановки как таковой, в то время как неверная постановка вовсе не ведет к недостатку данных... Брр, какой нелепый софизм! К тому же построенный на легком смещении глагольных форм. Очевидно, что это отношение нельзя рассматривать в строго диалектическом смысле. Уместнее прибегнуть к математическим понятиям, скажем, к понятию функции. В данном случае одно обстоятельство могло бы являться функцией другого. Да, но какое — какого? Попробуем принять первое за постоянную величину задачи, а второе — за переменную... Боже, куда это меня понесло, ведь уже на исходе последние минуты. Вот и еще половина прошла, теперь на все про все оставалось три минуты. Нет, так дальше нельзя. Нужно полностью от всего отрешиться и рассмотреть все по порядку. Значит, так, что мы имеем: постановка задачи — ни на какую постановку времени уже нет, хотя в любом случае следует отталкиваться от исходных данных, иначе придется без конца барахтаться в море воз-



можно. Тогда данные — хм, но здесь не обойтись без некоторых соображений! Ради всего святого, скажите кто-нибудь, как определяются исходные данные задачи? Начинаешь уже думать, что данные зависят от постановки, а вовсе не наоборот (неважно, если я где-то сам себе противоречу). Впрочем, даже не столько от постановки задачи, сколько от ее решения. Только предначертывая, предполагая будущее решение, нащупываешь те данные, которые в один прекрасный момент вдруг с ясностью вырисовываются в уме. Это может означать, что решение задачи не обязательно зависит от логики и только от логики, и еще многое другое, но из соображений краткости... (черт возьми, это же вам не лекция, это...). Ну да, конечно, «предначертывая» и «предполагая» — вовсе не те слова, «предчувствуя» — вот слово. С другой стороны, «те данные» тоже не передает всего смысла. Нужно просто сказать «данные», без всякого «те». Ведь каждое из возможных решений имеет, несет в себе свои собственные данные, ведь, если говорить начистоту, данные сами являются предположениями, а задача не имеет данных, данные не задаются. И потом, говорить нужно, конечно же, о бесконечных решениях. Неверно, будто существуют задачи, допускающие всего лишь два решения. Наоборот, подобной задачи как раз никогда и не было. Если уж на то пошло, бесконечными можно считать попытки обойти задачу, уклониться от нее. Такие попытки, хотим мы этого или нет, уже являются своего рода решениями. Скажу больше: предполагаемая задача с двумя решениями противна самому понятию задачи. По сути, это уже не задача, а скорее альтернатива или... жребий: брось его — и задача решена. А еще лучше: кинул кости — вот тебе и решение. Однако в самой идее двойственности решения заложено, что оба решения равнозначны. Это означает, что они представляют для исследователя две простые и противоположные возможности, тогда как по своей природе задача не должна находиться в равновесии и решить задачу — значит установить, в какую сторону наклонены весы, весы, разумеет-

ся, с энным количеством чаш... Хм, так ли все это? Не думаю. Пожалуй, я даже склоняюсь сейчас к тому, что любая задача по своей природе неразрешима. Именно, иначе остается предположить, что все ее возможные решения ошибочны или, что еще хуже, верны. Впрочем, нет. Последнее сказано разве что для красного словца: они все ошибочны. Или даже не ошибочны, потому что задача задачи, то есть ее проблема, в таком смысле тоже не ставится. В ее постановке не подразумевается положительный или отрицательный результат исследования, его успех или неуспех. Задача — это то, что нельзя исследовать. В лучшем случае ее можно лишь констатировать. Задача как бы прерывает естественный ход мыслей и действий, это своего рода болезнь, которой следует остерегаться. Но даже если с нами и приключилось такое несчастье, мы должны говорить и поступать достойно. Пока этого не произошло, все идет гладко. Ну, а если все-таки происходит, ничего уже не поделаешь, уже слишком поздно что-то делать...

Боже, куда меня занесло?

В моем распоряжении только минута. За эту минуту я должен принять решение и действовать в зависимости от... Принять решение: как и все остальные, моя задача, возможно, неразрешима, но мерзкая действительность неотвратимо наваливается на меня всей своей тяжестью и требует решения! Решение — смрадное рогатое чудовище, черный зверь, сидящий внутри каждой благородной души... Неужели я не способен сосредоточиться и найти простое, незамысловатое решение? Ведь находят же его другие, включая и ночного сторожа, этого карикатурного гиганта с водянистыми глазами, который ровно через полторы минуты дойдет своим размеренным шагом до комнаты и возникнет на пороге... Главное сейчас — спокойствие: за минуту можно открыть бесконечно малые величины, достаточно одного озарения. Озарение — суший пустяк!

Будем рассуждать просто: передо мной задача с одним неизвестным. Верно, молодец: не таков ли ход мыслей

и фантазии будущих следователей, приступающих к судебному разбирательству? Увы, подобная точка зрения весьма обманчива... Попробуем вернуться назад и установить, что же вызвало эту лавину бесполезных рассуждений. (Бесполезных? Рассуждение никогда не бесполезно, оно бесполезно всегда.) Конечно, у Габорио полицейские и сыщики, обнаружившие самоубийцу с револьвером в руках, были людьми явно недалекими. Потому что, прежде чем заключить, что в сцене самоубийства что-то не сходится, нужно выяснить, не был ли убитый левшой. Допустим, что так. Так ли? Пожалуй, не совсем. С таким же успехом можно утверждать и обратное, сказав, что сцена действительно неправдоподобна, если, конечно, кто-то или что-то не подскажет нам, что самоубийца был левшой. Таким образом, существует больше вероятности получить доказательство от самоубийцы или иного лица, нежели от полиции. В этом случае, если бы оказавшиеся на месте преступления не нашли ничего странного в том, что убитый держал пистолет в правой руке, или же нашли бы это весьма странным, или же не нашли бы... и так далее со взаимным чередованием, то их уже нельзя было бы называть недалекими. Это все равно что сказать: у меня даже нет предположения, на которое можно опереться в решении моей задачи. Проще говоря, основное условие или, если хотите, одно из неизвестных состоит не в наличии или отсутствии у полиции ума и прозорливости. А в чем? Где же тогда искать? Возможно, во мне самом. Ну, это мы уже наизусть знаем. Однако в действительности сказать так — значит не сказать ничего. То, что существует внутри нас, существует одновременно и вне нас. Точнее, мы говорим: то, с чем нам удалось установить ту или иную связь, находится и внутри нас. Но связь — это еще не все, и она сама это подтверждает, не отрицая и не подменяя существования того, что вне нас. Связь не самодостаточна. Да если бы и была таковой, я ко всему этому не имею никакого отношения... То есть как никакого? Шутить изволите? Какое там шутить! И, ради бога, не будем

больше об этом, лучше вернемся к полицейским и сыщикам Габорио. Сыщикам? Скажите уж прямо: литературным героям, притом опять же вымышленным. Они напоминают мне соперников тех самых мастеров, которые разыграли, а точнее, создали знаменитые шахматные партии, названные теперь Бессмертными. Так вот, эти мастера никогда бы не сумели разыграть или создать ничего бессмертного, не будь их соперники совершенно их недостойны. Хм, звучит странновато, будто словесная путаница, но не значит ли это, что, окажись сыщики достойны убийцы, они вынуждены были бы с позором сложить оружие у ног торжествующего соперника? И все же в известном смысле так оно и есть. Впрочем, в данном случае это мало к чему ведет, тут дело не в этом. Итак, мы исходим из того, что сыщики и полицейские — народ недалекий. Что же из этого следует? Нет, я плохо сформулировал вопрос, спрашивать надо конкретнее: по той или иной причине полицейские и сыщики не докопались до того, что убитый был левшой, что инсценировка самоубийства была совершенно правдоподобной, и так далее. Следует ли из этого что-нибудь? Ответ прежний: решительно ничего. С ходу этому можно дать по крайней мере три объяснения. Первое — его одного могло бы оказаться вполне достаточно, так же как Наполеону оказалось достаточно первого ответа бомбардира, — то ложное самоубийство остается тем ложным самоубийством, а это — этим. Второе: нельзя вывести норму, тем более норму поведения, из вероятности, пусть даже и обусловленной. Этот пункт, точнее, эту формулировку следовало бы особо разъяснить, но нет времени. Стоит все же заметить, что действия сыщиков и полицейских не должны восприниматься как нечто непреложное, иными словами, отнюдь не обязательно, чтобы полицейские, обнаружившие самоубийцу с пистолетом в левой руке... и так далее и тому подобное. Более того, пистолет или его положение не являются необходимым звеном расследования. Третье: всяческие их действия относятся уже к последующему этапу этой истории.

Каким же образом, спрашивается, последующий этап может служить примером, назиданием или уроком по отношению к предшествующему? Между обоими этапами нет никакой связи, как нет ее и между обоими случаями. О, можете мне поверить: любая задача не только неразрешима, но даже и невообразима. Это всегда точно снег на голову, я об этом уже говорил, — и больше ничего.

Вы только вдумайтесь, уделите мне чуточку внимания и постарайтесь сами что-нибудь понять во всей этой неразберихе. Упомянутый мной последующий этап в данный момент является по отношению ко мне будущим этапом, в то время как предшествующий этап, считающийся прошедшим по отношению к последующему, является для меня теперь настоящим... Как, вы не видите в этом ничего необычного? Да вы только всмотритесь, постарайтесь понять, зачем нужны все эти слова, остановитесь на каждом из них, взвесьте их одно за другим, и вы почувствуете, что необычность бросается вам в глаза... Боже правый, с кем это я говорю? С кем я говорю, вместо того чтобы... Вся беда в том, что я уже не в состоянии рассуждать. Несмотря на все мои академические звания, я не в состоянии рассуждать. Теперь все кончено, остается только...

Мозговые токи (а вовсе не мысль, которая здесь ни при чем), как известно, быстрее молнии и света. Однако этого еще мало, чтобы окончательно выволить их из рабства времени. В распоряжении убийцы оставалось теперь не больше полминуты, не считая тех тридцати секунд, которые были ему необходимы, чтобы оказаться в безопасности. И его охватила паника. Полминуты — срок достаточный для того, у кого голова на плечах и ясный ум. Но он уже безнадежно чувствовал себя жертвой этого своего... чего именно, пусть определяет сам читатель, — и потерял всякую надежду. В голове мелькнула трусливая мысль бежать, бросить собственный шедевр как есть, незавершенным, а точнее, безвозвратно опороченным в самой своей сути (а ведь именно этот последний штрих

и должен был придать ему смысл и яркую неповторимость).

Обычное преступление: неужели лишь к этому и свелся весь его шедевр? Внезапно в сознание ворвались слова из его собственного внутреннего монолога: «Жребий! Бросить жребий!» Да, да, вне всяких сомнений, это и было то единственное решение, над которым он бился все десять минут (а если бы и были какие-то сомнения, то уже не было никаких сомнений в том, что на выяснение сомнений не было времени).

Он стал лихорадочно шарить в кармане, вынул оттуда монету и подбросил ее в воздух: орел — он вложит пистолет (соблюдая все необходимые предосторожности) в левую руку убитого, решка — в правую. Описав в воздухе дугу, монета со звоном упала на пол, покатилась под письменный стол и наконец застыла плашмя. С того места, где он стоял, убийца не мог разобрать ответ и, опустившись на четвереньки, быстро пополз к монете. Он был счастлив оттого, что кто-то (кто?) решал или что-то решало за него. Но прежде всего он был счастлив оттого, что все наконец-то решилось. И он слепо верил в правильность этого решения... Убийца почти достиг цели, как вдруг почувствовал, что на него смотрят. Даже не столько на него, сколько на его зад, торчавший из-под письменного стола. Он резко обернулся.

Заслоня собой весь дверной проем, на пороге стоял ночной сторож. Он в изумлении вытаращил на убийцу свои водянистые голубые глаза.

— Профессор, вы... — пробормотал он в растерянности, словно это его застали врасплох на месте преступления. Затем он увидел труп; но среди многих прочих чувств, отражавшихся теперь в его глазах, главным по-прежнему оставалось изумление. Убийца встал. Молча, скорее взглядом, чем жестом, он указал сторожу на пачку ценных бумаг и банкнот, лежавших на письменном столе. Предложение заключить сделку было очевидно. Но сторож так же молча покачал головой и только ухмыльнулся. Эта ухмылка не предвещала ничего хорошего. Спустя мгновение сторож

поднял пистолет, который уже был у него в руке, и, направив его на убийцу, сделал тому привычный жест, означавший: «Руки вверх и не вздумай шалить». Убийца все понял, поднял руки и отошел в сторону, давая сторожу пройти к телефону. При этом он следил за тем, чтобы все время оставаться под дулом пистолета. «Мало ли чего можно ожидать от этих скотов!» — подумал он.

— Скажи мне только одно, Джованни, — спросил он потом, когда они сидели рядом, плечом к плечу, в ожидании полиции. — Разве ты не появился примерно за минуту до положенного срока?

— Верно, — ответил сторож, мельком взглянув на настенные часы. — Верно, просто я услышал, как упала и покати-лась монета. И тогда, вы же понимаете, профессор, я ки-нулся сюда на цыпочках...

Теперь ты видишь, до какой степени человек способен уйти в нелепые рассуждения. Видишь, от чего зависит наша судьба: ведь это было так просто — бросить монету на ковер, а не на голый пол, и тогда задача была бы решена!

# Мудреное понятие

Nageurs morts suivrons-nous d'ahan  
Ton cours vers d'autres nébuleuses... \*

— Итак, дорогие мои, по программе нашего курса мы дошли до одной довольно непростой темы. Чем больше я в нее углубляюсь, тем беспомощнее становится моя наука. Давайте вести наше обсуждение открыто: пусть каждый высказывается и задает любые вопросы. Единственная просьба — говорить по очереди.

— Прекрасно, трудности мы любим. Продолжайте, профессор.

— Ну-ну, не так резво! Эта тема, пожалуй, самая сложная из всех. Но не будем пасовать перед трудностями и приступим прямо к делу. Итак, мои юные друзья, сейчас мы поговорим с вами о смерти.

— О смерти? А что это?

— Спокойно, спокойно. Этого я не знаю и, возможно, не могу знать.

— Как же тогда быть?

— Зато они должны или должны были это знать. Ведь у них есть или было для этого особое слово. А это уже кое-что.

— Кто это они?

— Как кто? Существа, о которых мы до этого говорили.

— Обитатели тех далеких миров, которые...

— Именно. Я даже как-то показывал вам с помощью телескопа их местонахождение, то есть их галактику.

— Это та, что самая дальняя от нас, вроде бледного пятнышка?

\* Мертвые пловцы, последуем ли мы  
Твоим путем к туманностям иным... (франц.).



— Совершенно верно. Давайте только не тратить время на повторение. Сейчас это лишнее. Итак, смерть.

— Но, профессор, если об этой, как ее... смерти знают только они, а вы ничего не знаете, то мы не видим...

— Позвольте, я ведь вовсе не утверждал, что они это знают или знали.

— Час от часу не легче! Тогда каким образом мы будем все это обсуждать?

— Да дело как раз не в этом! Послушайте меня внимательно: оставим в покое все эти «что» и «как», иначе мы вечно будем топтаться на месте. Попробуем уточнить и прояснить для себя понятие смерти. По ходу ваших мыслей я буду помогать вам, а вы — мне по ходу моих. Так рано или поздно мы обязательно к чему-нибудь придем. В конце концов вы не должны забывать, что если что-то понимает один, то поймет и другой, живи он хоть на расстоянии в миллиард световых лет. Так что попробуем, а когда окончательно исчерпаем свои силы, я расскажу вам то небольшое, что знаю сам.

— Попробуем.

— Вот такими вы мне уже нравитесь. Начать, я думаю, следует совсем издалека, иначе разобраться в чем-либо будет просто невозможно. Правда, если бы я мог сослаться на понятие жизни, мне было бы гораздо проще объяснить, что такое смерть. Но вся беда в том, что о понятии жизни вам тоже ничего не известно, а объяснить его я смог бы, только прибегая в свою очередь к понятию смерти. Для нас практически это означает, что жизнь и смерть сводятся к одному и тому же.

— Жи-и-знь?

— Да, жизнь, только, ради бога, не начинайте все сначала... Нет, так мы далеко не продвинемся; тут, видно, не обойтись без некоторых, с позволения сказать, первичных по отношению к жизни и смерти понятий... А что, скажите, не касались ли вы на других лекциях темы... В общем, знаете ли вы, что такое время?

— Время? Нет.

— А пространство?

— Пространство?

— Значит, о пространстве или времени, если сблизить оба эти понятия и свести их к единому понятийному целому, вам также ничего не известно?

— Что, что?

— Нет, ничего.

— Пространство, время — какие забавные слова! А что это?

— Нельзя сказать, чтобы они были чем-то. Я хотел спросить, знаете ли вы, что подразумевается под временем и пространством, или под временем или пространством в представлении обитателей той далекой туманности. Но, к сожалению, вы и этого не знаете; что же тогда говорить о понятии протяженности и так далее, и так далее... В таком случае скажите сами, как мне быть.

— На предмет чего?

— О господи, да на предмет того, чтобы объяснить вам, что есть смерть.

— А что, разве, не поняв, что такое эти ваши пространство и время, нельзя понять и что такое смерть?

— По-моему, нет. Во всяком случае, мне так кажется.

— Тогда объясните нам, что такое пространство и время.

— Хм, видите ли, как это ни смешно... здесь опять получается прежняя история. Говоря о пространстве или времени, означающих, в сущности, одно и то же, я так или иначе вынужден буду коснуться смерти, точнее, предположить, что вам это понятие уже известно. Как, по-вашему, является ли понятие смерти следствием понятия пространства-времени или оно само порождает понятие пространства-времени? Можете вы об этом что-нибудь сказать?

— Мы — нет.

— Вот и я не могу. В действительности речь, возможно, идет о двух параллельных понятиях или об одном и том же понятии, но под различными углами зрения.

— Что же тогда остается делать?

— Что делать, что делать! Пока мы здесь окончательно

не потеряли голову, начнем все с самого начала. Давайте-ка посмотрим, что такое бытие.

— Давайте!

— Давайте!

— Давайте!

— Не много ли желающих? Пусть начнет кто-то один. Итак, что такое бытие?

— Бытие — это наше сознание.

— Ну да, так, во всяком случае, сказано в наших учебниках. Из этого следует, что бытие представляет собой некую чувственную, или субъективную, связь. Но с чем, спрашиваю я вас?

— Как это с чем? Ясное дело, с нашей мыслью, с теми же чувствами, короче, со всем тем, что делает нас нами.

— То есть это как бы осознание содержания нашего сознания. Это понятно или воспринимается как игра слов?

— Ну... так, как сказали вы, в общем, конечно...

— Я как раз сказал только то, что сказали вы. Однако думаю, что здесь не обойтись без некоторой промежуточной ступени. Наше сознание должно соотноситься с чем-то еще помимо самого себя. Правда, в этом случае мы несколько отвлекаемся от темы лекции и выходим за рамки ваших знаний. Скажите, вам никогда не приходило в голову, что связь, которую вы назвали субъективной, может по крайней мере стремиться к объективному началу, иными словами, что бытие выражает не столько наше сознание, сколько наше состояние?

— Состояние!

— Что такое состояние, мы худо-бедно понимаем, но...

— Я предвидел ваше негодование. Вы наверняка скажете мне, что так как наше состояние неизменно и вечно, то это уже не состояние?

— Конечно! В понятии состояния или условий существования заложена возможность изменения.

— Вот тут надо еще подумать; уже то, что мы говорим «неизменное состояние»...

— То есть как это?

— Кто же так рассуждает? Разыгрывает он нас, что ли?

— Хорошо, и что же из этого следует?

— Спокойно, спокойно. Может быть, вы и правы. Попробуем тогда обойти эту трудность. Скажите, а что такое небытие, вы знаете?

— Нет.

— Еще бы, ведь вся наша философия строится на положительных понятиях. Но, видит бог, существуют и понятия отрицательные, по крайней мере мы должны предполагать их существование, если судить по тем сведениям или идеям, которые доходят до нас с той далекой туманности.

— Отрицательные понятия? Что это?

— Это понятия, относящиеся к тому, чего нет, сравнительно с тем, что есть.

— Пощадите, профессор, мы ничегошеньки не поняли!

— И неудивительно. Скажем так: они относятся к видоизмененному состоянию вещей.

— К видоизмененному состоянию? Что это значит?

— О боже! То, что они относятся к иному возможному состоянию вещей.

— То есть к их невозможному состоянию?

— Если хотите, да. В конце концов, небытием можно считать то, что не есть бытие.

— Но то, что не есть бытие, никак не проявляется.

— Согласен, но вы можете представить это мысленно.

— Отнюдь, потому что то, чего нет, может означать бесчисленное множество вещей.

— Не-ет, здесь вы ошибаетесь. То, что есть, также означает бесчисленное множество вещей, но в той мере, в какой оно составляет цельное понятие, оно четко определено и самодостаточно. Аналогичным образом существует только одно проявление небытия, иначе говоря, понятие небытия является обоснованным и представляет собой ясную идею.

— Извините, но до нас все равно пока не доходит. Вы говорите «аналогичным образом». Но для того, чтобы аналогия была если уж не полной, то хотя бы приемлемой, это самое небытие должно заключать в себе, в собственном измерении,

бесчисленное множество вещей, подобно тому как это происходит с бытием, а не просто вырисовываться в бесчисленных проявлениях... Я знаю, что говорю путано, и не уверен, все ли меня поняли. Однако, судя по вашим словам, вы неверно истолковали смысл нашего возражения. Помимо этого, вы попросту занимаетесь с нами словесными кульбитами, с вашего позволения. С одной стороны, вы приводите цельное понятие, правда, уже в обобщенном виде, с другой — также цельное понятие, которое, однако, ничего не обобщает и ни с чем не соотносится.

— Проклятие, да вы не просто, а чересчур смышлены! Не просто, потому что, сами того не замечая, смешиваете абстракцию и реальность. Правильнее будет сказать так: понятие бытия не является истинным там, где истинным является или являлось бы, не знаю, как тут еще сказать, понятие небытия. Небытие, пожалуй что, можно считать понятием чистым и безотносительным.

— Однако хоть какое-то представление о нем вы должны нам дать!

— Это вовсе не обязательно. В порядке исключения вы можете представить его как чисто умозрительное построение.

— Значит, мы должны проглотить это как есть и успокоиться?

— Что-то вроде того.

— Ладно, ребята, давайте глотать, пусть даже оно встанет у нас поперек горла... Сделаем так, профессор: вы продолжайте, а там, как знать, может, последующее и прояснит предшествующее! Хотя, согласитесь, это довольно странный метод созерцания.

— А мы и не созерцаем. Повторяю, в первую очередь я пытаюсь выяснить кое-что для себя. С другой стороны, уже не раз последующее проливало свет на предшествующее.

— Хорошо, тогда продолжайте. Кстати, для начала неплохо было бы узнать, каким образом это ваше небытие связано с этим вашим пространством или временем.

— А кто его знает! Скорее всего прямой связи между ними нет.



*E. Chiavari*

Гектор и Андромаха. 1968.

— Смелее, смелее, профессор!

— Интересно, как, по-вашему, содержит идея небытия идею ограниченности или нет?

— Хм.

— М-м-м.

— По-моему, хмыкать тут особо нечего. Я думаю, что содержит.

— Как это?

— Если существует небытие, значит, бытие не является, как бы это сказать, всеобъемлющим и предполагает наличие пустот.

— Ха-а!

— Фью-ю!

— Та-ак, это еще что за свист? Давайте-ка посерьезнее!

— Но, профессор! Теперь уже вы смешиваете абстракцию и реальность. Ведь о небытии нельзя сказать, что оно есть. Не вы ли сами только что подали нам его как чисто умозрительное построение?

— Вот это уже совсем другое дело! Вместо того чтобы попусту балаганить, вы бы почаще открывали рты и говорили по существу. Именно! Именно об умозрительных построениях мы и говорим. И небытие я упомянул лишь в отвлеченном смысле, точно так же, как и наша вероятная цель, точнее, наш первый этап — пространство или в р е м я , — представляет из себя не что иное, как отвлеченность.

— Да, да, на этот раз вы совершенно правы! Вы уж нас извините. Вот только интересно бы узнать, что такое «рты»?

— Рты? Я сказал «рты»? Ну, это внизу такое... Впрочем, сейчас это не столь важно. Позже мы к этому, может быть, вернемся.

— Тогда продолжим.

— Продолжим. (Но как?) Итак, если бытие не есть все, если оно ограничено небытием...

— То что?

— То ничего, друзья мои. Не так-то это просто продолжать, к тому же скорее всего не я хитрее вас, а вы — меня. И все же чисто интуитивно мне кажется, что, исходя из по-

добной предпосылки, можно осуществить разграничение стихий, стихий, разумеется, понятийных.

— Какое еще разграничение? Каких стихий?

— Ну как же... Допустим, здесь у нас бытие, а здесь — небытие. Это означает, что в один прекрасный момент бытие становится небытием или, наоборот, что однажды кончается бытие и начинается небытие. Не так ли?

— В общем-то так. Хотя эта идея конечности пока еще не очень понятна. Что значит «кончается»?

— Значит ли это пока то, что бытие и небытие разграничены между собой, или нет?

— Несмотря на довольно туманное определение, в том, что они разграничены, нет никаких сомнений. Однако должен вам заметить, профессор, что все это сильно напоминает ловкий фокус: за одним словом стоит другое, одно слово объясняется другим, которое тоже в свою очередь нуждается в объяснении, и так далее.

— Все так, но что же я могу с этим поделать? Мне все это скорее напоминает игру в прятки. В конце концов всегда что-нибудь да останется. Слова уже сами по себе кое-что значат, и, возможно, спустя некоторое время они вдруг разом озарятся особым смыслом.

— Хм, ну допустим, а дальше?

— Итак, бытие и небытие разграничены. А теперь скажите, смогли бы вы представить себе две разграниченные вещи, так сказать, внутри бытия?

— При условии, что предварительно мы уже разграничили бытие и небытие? Не очень-то.

— Как же так, ведь кто-то из вас говорил здесь о мыслях и чувствах, о том, что это две разные вещи, а все вы признали, что бытие означает бесчисленное множество вещей!

— Если все действительно так гладко, то не совсем понятно, зачем вам понадобилось устраивать этот опрос... Просто у нас так принято говорить, ну, ведь бесчисленное множество вещей — это то же самое, что одна вещь. И вовсе не верно, будто мысли и чувства или мысль и чувство означают две разные вещи, скорее это... два слова.



— Этого мне пока вполне достаточно. И все же я хочу вас спросить: можете вы представить в самом бытии, хотя бы даже в виде слова, нечто обособленное?

— Что за вопрос! Безусловно. Мы же только сейчас сказали, что слов в бытии найдется столько, сколько понадобится.

— Нет, вы меня неправильно поняли, а может, это я слегка напутал, ну да неважно. Я хочу сказать (но что именно?), я хочу сказать... Вот вы, например, смогли бы мысленно представить себе нечто обособленное, выделив его силой своего воображения из того, что находится в данный момент перед вами?

— Вопрос весьма туманный, профессор, если не сказать больше. Речь идет о том, чтобы принять звезду за нечто качественно отличное от окружающего ее неба?

— Да нет же, отнюдь не качественно! Чертовски непросто это выразить, так что я вынужден буду повториться: это значит принять ее за нечто обособленное от остального, принять как сущность, как самодостаточность.

— Самодостаточность?

— Ох... тогда другой пример: можете вы себе представить, что две звезды составляют соответственно два предела?

— Предела чего?

— Да неба же!

— То есть представить, что небо заключено между двумя звездами?

— Как раз наоборот: что в небе есть еще небо, заключенное между двумя звездами, что в большом существует малое, во всем — часть. Или что небо состоит из множества малых небес.

— Ну, знаете... Хотя мы уже начинаем понимать, что вы имеете в виду.

— Боже милостивый, наконец-то! Тогда мы вплотную подходим к понятию пространства или времени.

— Но какая все-таки польза от этой причудливой фантазии?

— Сейчас не в пользу дело. Впрочем, полезнее всего вам

было бы вникнуть в смысл понятия пространства и времени. Вам... У них же все обстоит совсем иначе. Кстати, я далеко не уверен, что для них это причудливая фантазия.

— Хорошо, так где же в этом предположении, образе или вымысле заключается понятие пространства или времени? В чем оно выражается?

— Не торопитесь. Итак, что мы имеем: небо состоит из множества малых небес, подобно тому как бытие — из множества бытийнок, причем именно бесконечных, поскольку бесконечны ваши вероятные точки отсчета. Пока все ясно?

— Более или менее. Значит, эти малые небеса, которые мы представили, или эти, как вы их называете, бытийнки, точнее, каждая из них и есть пространство или время?

— Да нет же, не путайте: малые небеса хотя и ограничены (весьма произвольно и исключительно в отвлеченном смысле), тем не менее что-то собой представляют. А пространство или время суть ничто. Это только понятие, ну, самое большое — метод.

— Как метод?

— Для какой цели?

— Э, не придирайтесь к словам. Может, потом все станет понятно, а может, и нет, посмотрим.

— Так что же, в конце концов, такое пространство или время? Мы перед вами уже полностью выложились, пора бы и вам раскрыть свои карты!

— Если в двух словах, то пространство или время — это не что иное, как сама возможность ясно и без малейших усилий понять, что такое небесинки или бытийнки.

— Как, как?

— Не подкопаешься!

— А мы-то думали!

— Погодите, погодите. Давайте по порядку: идея пространства-времени содержит в себе, по их мнению, конечную идею.

— Конечную?

— В том смысле, что эта идея тяготеет к известному пределу, точнее, рассматривает его положительно. Она не

столько разграничивает, сколько ограничивает. Они называют ее... идеей длительности.

— Они! А мы, значит, опять погружаемся в полный мрак!

— Но ведь мы же только что сказали... Вот смотрите: предположим, здесь у нас одно небо, а здесь другое...

— Вы хотите сказать, что там, где кончается одно, начинается другое или что одно в любом случае должно кончиться, чтобы уступить место другому?

— Именно.

— Допустим, но как можно мысленно представить себе эти конец и начало, не говоря, разумеется, о том, что оба предполагаемых неба действительно имеют одинаковую природу? Как некое изменение состояния и свойства?

— Нет, нет!

— Тогда как же?

— Исключительно как конец и начало. В данном случае одно из этих понятий можно даже опустить. На выбор.

— Ну нет. Это будет слишком просто. Или, чтобы вы не обижались, слишком сложно. Получается образ, лишенный содержания. Нет, так не годится.

— Следовательно, вы не в состоянии вывести идею конца или начала? (Какой тонкий вопрос! Будь они в состоянии это сделать, они бы уже знали, что такое смерть.)

— Не-ет, идеи конца и начала являются относительными и только, так что, пожалуйста, не сбивайте нас с толку.

— И тем не менее! (Хотя, на мой взгляд, они совершенно правы: сам-то я разве знаю, что такое смерть?)

— Кроме того, тут возникает еще одна трудность. По вашему собственному определению, эти небесинки или бытиинки бесконечны. Так о каком же тогда конце или начале можно вообще говорить?

— Как, теперь вы отрекаетесь от того, что было уже признали?

— Ни от чего мы не отрекаемся. Но даже если и так... Мы все же считаем, что третьего здесь не дано: или бесчисленность, или что-то одно.

— (Они и тут правы, хотя в их рассуждениях еще

не хватает последовательности). Допустим, они бесконечны, но ведь мы всегда можем брать в расчет лишь часть из них.

— Мы, конечно, можем брать в расчет лишь часть из них, полагая при этом, что они бесконечны. Это как если бы наша фантазия растворялась в той же точке, в которой она приобретает форму или должна ее приобрести.

— (Лихо! Не придерешься... Хотя...) Послушайте, оставим в стороне эти дотошные уточнения и постараемся иначе взглянуть на дело. Тогда медленно, но верно мы скорее дойдем до цели. Впрочем, не думаю, чтобы это было так необходимо. Знаете, что я вам скажу? Ваши доводы уже свидетельствуют о понимании вами сути пространства или времени.

— Ну, если вы сами так считаете...

— Да, я даже заранее это предполагал. Понятия вырабатываются по ходу дела, в процессе дискуссии, когда порой едва догадываешься, о чем идет речь. А бесконечные уточнения решительно ни к чему не приведут. Да и наскоком здесь ничего не добиться.

— Хм.

— Ну хорошо, предположим, что так оно и есть. Впрочем, даже если бы у вас до сих пор не было ни малейшего представления об этом злополучном понятии, нам все равно не оставалось бы ничего другого, как идти дальше и слепо надеяться на будущее. А пока что перед нами тупик.

— Итак, предположили — и пошли дальше. Простите, если не ошибаемся, вначале речь шла о какой-то смерти?

— Не беспокойтесь, рано или поздно дойдем и до нее.

— Тогда — вперед!

— Скажите, смогли бы вы... это даже сформулировать и то непросто... смогли бы вы представить самих себя внутри одного из этих вероятных множеств, которые мы назвали небесинками и бытиинками? То есть каждого из вас в одном из них?

— Что?

— Что?

— Это как же?

— Ну вот это уж нет!

— Однако вы даете, профессор, — бытие содержится в части себя? Больше в меньшем? Большое в малом?

— Ха-ха!

— Фьюить!

— Так, успокоились и замолчали! Прежде всего при чем здесь бытие? Я говорил о каждом из вас.

— Бытие, именно бытие! Каждый из нас и есть бытие.

— Ай да молодцы! Такое прилежание достойно стен университетов и академий. Вот только меня вы сильно разочаровали. Более того, я в полном отчаянии и прошу ваше воображение, ваш пытливый ум сделать еще одно небольшое усилие. Иначе никакого продолжения не будет и мы можем спокойно разойтись.

— Но ведь это просто невероятно — представить себя замкнутым внутри бог весть чего!

— Я и сам понимаю, что это невероятно \*, однако еще невероятнее, если это вообще вероятно, было бы быть замкнутыми, поэтому, если идти от более невероятного к менее невероятному...

— Полная неразбериха! Лепит что попало!

— В принципе представить себе подобную вещь можно. Я, например, долго над этим бился и кое к чему все-таки пришел. Видимо, они там воспринимают это точно так же, независимо от того, есть у них на то основания или нет. И если уж мы хотим до конца разобраться в этом деле, если я сам хочу в нем разобраться... Увы, я прекрасно понимаю, что не вправе требовать этого от вас.

— Ребята, доставим ему это удовольствие, что нам стоит? А то он еще, чего доброго, расплатится.

— Может, хватит зубоскалить, а?

— Ладно, ладно, будь по-вашему: большее в меньшем. Теперь вы довольны? Итак, каждый из нас замкнут в клочке неба.

— Но это еще не все...

\* Ландольфи недвусмысленно намекает на свою книгу «Невероятные рассказы», из которой взят данный рассказ.

— Как, вам и этого мало?

— Прекратите, я вам говорю, и постарайтесь сосредоточиться.

— Знаете, профессор, мы уже дошли до такого состояния, что готовы согласиться с чем угодно: и с тем, что вселенная бесконечна, и с тем, что она конечна, и с любой другой ахинеей в этом роде.

— Я тоже. Но когда все эти страсти поулягутся, вы поймете: я не виноват в том, что они действительно замкнуты, как вы говорите, в клочке неба или... или времени.

— Что, что они?.. Но ведь это немыслимо! Как им удастся? Давайте послушаем, авось что-нибудь и поймем, если верить вашему утверждению о том, что последующее проясняет предшествующее.

— Вот и славно. А теперь — чуточку веры!

— В кого?

— Прежде всего в самих себя. Итак, постарайтесь как следует сосредоточиться, потому что сейчас вы услышите нечто действительно архисложное и совершенно непостижимое. Все, о чем мы говорили раньше, — цветочки по сравнению с этим. Только что мы забавлялись менее невероятным и более невероятным. Именно с последним нам и предстоит столкнуться лицом к лицу. Так вот, они...

— Смелее, нас уже ничем не удивишь.

— Зато я еще способен удивляться решительно всему.

— Ну, а поскольку мы все равно предаемся невероятным фантазиям, то самая невероятная из них будет одновременно и самой занятной.

— Если бы я еще знал, как это выразить! Да одного этого было бы вполне достаточно! Ну, а пока можно констатировать только обратное. Так что двигаться придется на ощупь. Могу лишь повторить то, о чем вы уже составили себе наиболее общее представление: их большее, то есть большее в их понимании, на самом деле содержится и развивается в собственном меньшем, точнее, в стольких меньших, сколько их самих. Это ясно?

— Какое там ясно! Это лишено всякого смысла. В самой

фразе и то ничего не поймешь, что же тогда говорить о содержании!

— Согласен, однако это так. Я говорю «так», потому что не осмеливаюсь сказать «так, и только так». Как бы то ни было, здесь мы стоим перед лицом факта.

— Факта?

— Да, факта. Разумеется, в той мере, в какой вообще приемлемы любые факты.

— Нельзя ли чуточку поясней: в чем именно заключается смысл этого вашего факта? Ведь из того, что вы до сих пор рассказывали, ничего фактического не вытекает.

— О боже, ну как вам еще объяснить? Большее в их понимании реализуется или, скажем, способно конкретизироваться в меньшем, оставаясь при этом все же большим. А может, и не оставаясь — откуда мне знать! Иначе говоря, их бытие как бы размельчено или же... воспроизводится... во множестве малых бытий.

— В таком случае это уже не от большего к меньшему, тут уместнее говорить о множестве меньших, которые образуют некое большее.

— Не думаю, хотя, возможно, здесь-то и зарыта собака. Я специально сказал «как бы» размельчено, чтобы вам было яснее.

— Мы все равно ничего не поняли. Выходит, это, назовем его, разделение бытия происходит в каждом из них?

— Да не-ет! (А впрочем... но об этом лучше не надо.) Наоборот, каждый из них представляет собой одну бытийку, одно малое бытие, и ничем другим не является, хотя способен вместить в себя всеобщность бытия или быть ему сопричастным. Фактически каждый из них представляет собой нечто ограниченное в небе и бытии, нечто, покрывающее собой лишь часть неба или бытия.

— Как, вы же сами только что сказали, что они вмещают, сопричастны и так далее?

— А это как посмотреть: с одной стороны, каждый из них — частица бытия, с другой — возможно, все бытие. С одной стороны, они начинаются и кончаются, с другой —

возможно, никогда не начинаются и никогда не кончаются.

— Загадка на загадке! Послушайте, профессор, мы складываем оружие.

— Ну что вы... (Мне только сейчас приходит в голову, что, наверное, можно было обойтись и без этой заумной прелюдии: достаточно было напомнить им об их чувстве личности. Если, конечно, оно у них есть и достаточно сильно развито. Однако вся беда в том, что я заранее знаю, как они мне ответят.) Поверьте, ребята, я и впрямь не вижу в такой постановке вопроса ничего странного. Ведь если хорошенько приглядеться — разве это не наш с вами случай? Ведь и мы заключены внутри некоего меньшего, поскольку каждый из нас представляет собой обособленную личность, или индивидуальность, не так ли?

— У-ууу!

— Бр-ррр!

— Ну вот, к примеру, сейчас, здесь вас много или вы один?

— И не много, и не один, это вам хорошо известно. Неужели подобные вопросы доставляют вам какое-то особое удовольствие? Все гораздо проще: мы одни, мы единственны во множестве, или, пожалуй, единственнизированное множество.

— (Так я и предполагал. Быстро отходим на прежние позиции, иначе все еще больше усложнится). Пусть будет так, тогда вернемся к предыдущему пункту. А еще лучше — оставим в покое вопрос об их сопричастности всему бытию. Тем более что в конечном счете он или преждевременен, или вообще здесь неуместен. Предлагаю ненадолго вернуться назад и попытаться взглянуть на все это несколько иначе...

— Ради всего святого, куда уж иначе, если и смотреть-то не на что! Скажите, какой все-таки смысл в том, что они ограничены в небе, бытии и еще где-то там? Не в том ли, что они изначально воспринимают самих себя ограниченными?

— (Можно было побиться об заклад, что они ничегошеньки не поняли после таких-то объяснений...) Нет и еще раз нет, вот в чем все дело!.. А хоть бы и да, правда... В конце



концов, смысл не только в этом... (Как тут еще скажешь?)

— Знаете, профессор, если вам так уж не по себе, отложим остальное до следующего раза.

(Они правы: взялся объяснять, а на деле водит всех за нос, потому что у самого в голове полная неразбериха.)

— Кажется, наш профессор погрузился в гордое молчание?

— Уместнее всего вам погрузиться в молчание и слушать меня внимательно. Попытаюсь еще раз донести до вас (а заодно и до самого себя) смысл этой чудовищности. Я не могу сказать, что это — следствие или причина. Однако ясно одно: они ограничиваются тем, что воспринимают себя изначально ограниченными, и являются ими или одновременно являются ими. (Ну вот, даже слов подходящих не найду и вынужден ходить вокруг да около.)

— Опять двадцать пять! Что это значит?

— То, что они могут быть кем угодно и чем угодно, но при этом все равно остаются замкнутыми в некоем малом, которое вы можете себе представить или мысленно обособить, как только что делали по отношению к небу. Каждый из них, таким образом, жестко ограничен в своем собственном малом или, если хотите, во времени-пространстве.

— Жестко ограничен? То есть опять же самоограничен, строго говоря?

— Боже правый, да нет! Ограничен, именно ограничен. Каждый из них представляет собой твердый объект. Он имеет особую плотность, оказывает сопротивление внешнему воздействию и так далее и тому подобное. Каждый из них имеет, как они сами выражаются, тело! (Ну, что сейчас будет?!)

— Тело?

(Пока тихо. Они слишком ошарашены. Может, пронесло?)

— Тело! Нам это слово известно только в одном значении: небесное тело.

— Вот вы и представьте себе что-то в этом роде. Размеры можете пока в расчет не принимать. А впрочем, как хотите. Тела, различные по форме.

— И каждый из них имеет... То есть что значит «имеет»? Вы имели в виду «является»?

— Ну да... я сказал «имеет», потому что... В общем, я имел в виду «является».

— Каждый из них является небесным телом.

— (Они ни о чем не догадываются.) Нет, не небесным телом, а просто телом. Более того, они прикреплены к различным небесным телам, зависят от них и не могут от них отделиться, а если и могут, то с большим трудом.

— Значит, они вроде спутников?

— Не-ет... Хотя, если разобраться, почему нет? Вы вполне можете мысленно сравнить их со спутниками. Правда, это были бы спутники, так сказать, *sui generis* \*. Судите сами: у них даже нет собственной орбиты, а находятся они непосредственно на небесных телах. Как какие-нибудь паразиты вроде клещей.

— Так, а дальше?

— (Честно говоря, я не ожидал такого спокойствия. Видимо, они еще ничего не поняли.) Что — дальше?

— Но... допустим, все это так; тогда какая здесь связь с... Нет, вы знаете, профессор, давайте говорить откровенно: мы считаем, что это ваше предположение, если его можно считать приемлемым, эта ваша история, если в нее так поверить, ничего в себе не несет. Мы, попросту говоря, абсолютно ничего в этом не поняли.

(Так я и предполагал.)

— А для чего, собственно, нужно это... тело? Как оно выглядит и ведет себя? И как вообще можно обосновать подобный способ существования?

— Ну-ну, не так неистово! Давайте пока довольствоваться тем, что мы установили: во-первых, они существуют, во-вторых, представляют собой тела, и тела материальные.

— Даже материальные?

— Ну да, а что, собственно, здесь такого? Взять, к примеру, нас самих. Хотя у нас и нет тела, мы материальны, как материальна любая вещь, поскольку является комбинацией

\* своеобразные, в своем роде (*лат.*).

энергий. Просто в их случае мы сталкиваемся с большей степенью комбинации материи или энергии.

— Конечно, конечно, однако же... Нет, до нас все-таки еще не дошло, нам до конца не ясно, в чем тут дело. Знаете что: давайте продолжим, если понадобится, вернемся к самому началу. Возможно, тогда, профессор, вам и удастся донести до нас смысл подобного абсурда. Вот вы, к примеру, сказали, что не уверены, является ли это тело или бытие тел следствием или причиной. Что именно вы имели в виду? Нельзя ли поподробнее?

— По-моему, ясно, что я имел в виду: тело или его наличие вполне может являться следствием их способа восприятия.

— Восприятия чего?

— Их способа восприятия вообще, восприятия бытия, восприятия всего.

— Хм, ну а если нет?

— Если нет, то возможен обратный вариант, при котором уже наличие тела могло породить, а в каком-то смысле и обусловить необходимость их способа восприятия.

— Вот видите? Это уже кое-что проясняет. Мы начинаем постепенно вникать в суть дела.

— Ай да молодцы!

— Да, ну а теперь?

— Что теперь?

— Как нам быть с этим телом? Прежде всего, какое оно?

— Вы хотите знать, как оно выглядит, каковы его форма и размеры?

— Нет, нет, мы спрашиваем, каково оно, в каком качестве оно существует, каким образом связано с бытием и так далее.

— Поверьте, вы несколько преувеличиваете мои познания; все, что мы м о ж е м, — это предполагать, приводить различные доводы, обсуждать, да и то... в порядке дискуссии.

— Э-э, нет, сначала вы ошарашиваете нас неслыханными заявлениями, а теперь хотите пойти на попятный?

— Я.. я говорю вам только то, что знаю, и было бы бесполезно...

— И еще: когда же наконец вы решитесь рассказать нам о смерти? Или вы уже успели об этом позабыть?

— (Они опять начинают дерзить, впрочем, это можно считать добрым знаком.) Что ж, думаю, теперь самое время поговорить и о смерти, более того — углубиться в самую суть этого вопроса.

— Так давайте же!

— Итак, они ограничены в пространстве...

— Или времени, если угодно. Это мы уже единодушно признали.

— Минутку, минутку. Пространство и время безусловно сводятся к одному и тому же; они безусловно составляют единое целое, но только в качестве понятия или понятий, а не в качестве...

— В качестве чего?

— Не знаю! Видите ли, они разграничивают оба эти понятия. Во всяком случае, разграничивали в течение долгого времени или воспринимали как некое двойное или парное понятие, насколько я себе представляю... Впрочем, не знаю и точно сказать не могу. Кроме того, я предполагаю, что к единому понятию пространства или времени прийти нельзя, по крайней мере они к нему не смогли прийти, не расщепив его предварительно на два параллельных понятия, точнее, абстрагировав его от них, почти как понятие понятия.

— Ничего себе закрут!

— Погодите, погодите. Да, я, как и все мы, нахожусь как бы на грани между воображением и предположением. Но я твердо убежден, что, если мы решили составить себе представление о смерти, мы должны придерживаться того старинного разграничения, которого, по праву или нет, придерживались они.

— Хорошо, давайте теперь над этим головы ломать. Продолжайте, пусть даже нам придется пятиться раком, неважно: делайте как знаете. Итак, пространство...

— Пространство, оно пространство и есть, и вам о нем известно уже предостаточно.

— Ну хорошо, а время?

— Время... понимаете, дело в том, что по той или иной причине они установили для себя последовательность событий...

— Это как?

— А вот так: последовательность событий в бытии.

— Да, но что, собственно, означает эта «последовательность»? «Система»?

— И да и нет. Нечто большее чем просто система. Хотя это можно было бы назвать динамической системой, когда каждое событие берет начало во времени от другого события... (Выдумываю черт знает что!)

— Непонятно, но пойдём дальше. Хорошо, а во имя чего, для какой цели все это нужно?

— Вы думаете, я знаю? Может, все потому же, что прежде всего они тела.

— В любом случае до этого момента понятие времени пока не отличается от понятия пространства.

— Совершенно верно. Но вот взгляните... о боже, с какого конца тут начать? Взгляните: вон та звезда ограничена в пространстве. До этого момента все ясно?

— Хм, да.

— Это значит, что в какой-то точке она кончается.

— Ну не то чтобы звезда прямо-таки кончалась, ведь она той же природы, что и все ее окружающее. Но ради интереса постараемся себе это представить.

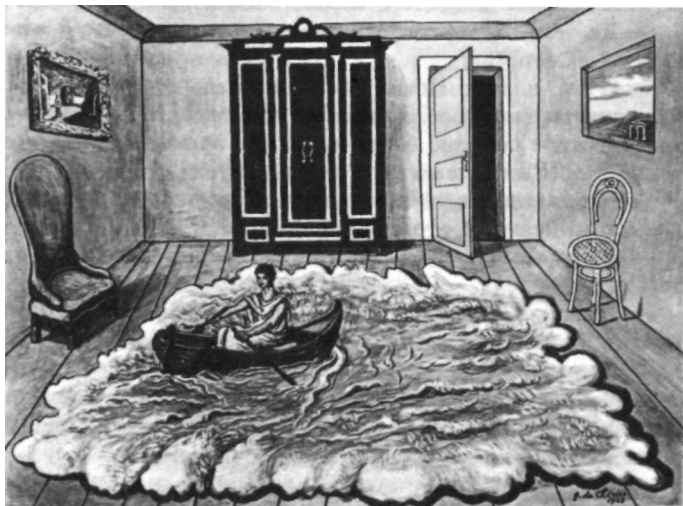
— Тогда постарайтесь представить и то, что эта звезда внезапно исчезла.

— Как это исчезла?

— Очень просто. Помните ту звезду, которая взорвалась, сейчас трудно уже сказать когда, прямо перед нами? И что же осталось на ее месте?

— Внешне ничего, но только внешне.

— Мне этого вполне достаточно. Так вот я спрашиваю вас: есть ли, на ваш взгляд, какая-нибудь разница между двумя концами, то есть между концом-завершением чего-либо в пространстве и концом-взрывом-исчезновением этой



Возвращение Одиссея. 1968.

самой звезды? По-вашему, оба эти события абсолютно схожи между собой?

— Да, конечно. Хотя... если вдуматься, становится понятно, что вы имеете в виду. Значит, этот второй конец и есть время?

— Не время, а то, что дало этим людям основание говорить о понятии времени, точно так же как первый конец дал основание говорить о понятии пространства. Таков, во всяком случае, отправной момент, — весьма призрачный, с моей точки зрения, — из которого, по моему предположению, они исходили, строя свое разграничение.

— Следовательно, время — это система концов?

— Пока что можно сказать и так.

— Но и пространство, судя по тому, как вы нам все представили, тоже является системой концов?

— Да, но...

— А-а, ясно: к пространству относятся концы первого представленного нами типа, а ко времени — второго.

— Именно.

— Допустим, значит, у них существуют или существовали две разграниченные между собой понятийные системы. И что же дальше?

— По поводу разграниченности надо еще подумать. Я действительно разграничил оба понятия, но лишь для того, чтобы затем сразу же их объединить. Дело в том, что они как бы сливаются в другом понятии — понятии смерти. Более того, суть этого последнего понятия именно благодаря им и проявляется нагляднее всего.

— Тогда к чему вся эта канитель? К чему нужно было забивать нам мозги этим замысловатым разграничением?

— Я разграничил их по двоякой причине. Во-первых, потому, что, как уже было сказано, их нельзя воспринимать в качестве единого понятия, предварительно не разделив. Во-вторых, потому, что смерть, несмотря ни на что и совершенно непостижимым для меня самого образом, относится скорее ко второму виду, второму роду единой идеи, чем к первому.

— Так, снова загадки пошли. Кажется, вы опять противоречите самому себе. Вы хотите сказать, что смерть скорее представляет собой конец во времени, чем конец в пространстве?

— В общем, да.

— Но в таком случае у нас получается два понятия.

— Отнюдь.

— То есть как? Вы шутите?

— Вовсе нет. Безусловно, здесь моя хилая теория начинает буксовать, и я, честно говоря, не знаю, как быть дальше, как обосновать мои... мои впечатления. Тем не менее... А что, если мы попытаемся изменить терминологию? Например, можно предположить, что понятие пространства или времени в его отношении к идее смерти, и только в этом случае, не является в собственном смысле слова понятием, а скорее функцией. Основания для подобного заключения действительно есть: пространство и время как бы выполняют функцию друг друга.

— Функция здесь вовсе ни при чем. Ну хорошо, а что это нам дает?

— О боже, да ничего, просто тогда нам было бы легче допустить преобладание одного из двух.

— Ничего подобного! Наоборот!

— А что, если мы обратимся к понятию переменной функции?

— А вам не кажется, что вы весьма вольно обращаетесь с этими терминами? Функция, какой бы она ни была — переменной или нет, не может относиться к самой себе. Кроме того, вы буквально закидали нас всевозможными понятиями, меж тем как у вас у самого, кажется, голова кругом идет. Мы уже окончательно запутались в ненужных подробностях, которые, по вашему собственному определению, являются лишь вашими впечатлениями.

— Что правда, то правда: я и сам потерял от всего этого голову.

— Ну, а все-таки, профессор, скажете вы наконец, как нам понимать эту проклятую смерть? Это конец во времени



или в пространстве? А может, и во времени, и в пространстве или же в том, что объединяет их и уподобляет одно другому? Да и конец ли это, правильно мы поняли ваши туманные объяснения?

— Это действительно конец, по крайней мере в их понимании. Конец во времени и в пространстве, и в первом, и во втором. Лучше даже будет сказать: во времени-пространстве. Да, остановимся пока здесь.

— Ну вот, теперь это хотя бы прозвучало ясно. Тем не менее остальное еще по-прежнему покрыто мраком неизвестности. Итак, конец. То есть, в сущности, идея конца. Впрочем, здесь, кажется, пахнет тавтологией: коль скоро они тела, то они и должны кончаться.

— Верно, они конечны, ограничены в пространстве, но...

— Во времени-пространстве, как мы только что признали.

— Да, но... (О небо!) Видите ли, то, что они конечны или ограничены, вовсе не означает, что они кончаются.

— Правильно, но разница в лучшем случае затрагивает наше сознание.

— Умницы. Вот где понятие, псевдопонятие или полупонятие времени может оказаться нам полезным, что бы я вам тут ни говорил. Они кончаются не только в пространстве, но и во времени, то есть в пространстве как пространстве-времени, при явном преобладании последнего... Это понятно?

— Ничуть.

— Тогда мы должны вновь обратиться к примеру взорвавшейся звезды. Я, наверное, рассуждаю сбивчиво и неуклюже, но речь идет не об их самовосприятии и не о каком-то отвлеченном для них понятии, а о реально происходящем событии. Хотя, как я уже говорил, именно мировосприятие сделало их такими, какие они есть.

— Вы никак не дойдете до сути дела. Значит, смерть есть реально происходящее событие?

— Да.

— Следовательно, теперь это больше уже не понятие и не идея?

— Да нет же, черт возьми, это идея, выведенная из реаль-

ного события, и одновременно само это событие.

— Как это у вас все легко и просто! Плохо лишь одно: исходя из ваших собственных доводов, можно с таким же успехом заключить, что не идея выводится из события, а событие из идеи.

— (Ты смотри, что творят!) А что, собственно, это меняет, славные вы мои всезнайки?

— Посыплем голову пеплом: выходит, они могут взорваться, подобно небесным телам?

— Не знаю, взорваться ли, но кончиться — наверняка. Впрочем, если хотите, будем считать, что они взрываются.

— Значит, и с ними может выйти такая оказия?

— А вот и нет. Тут кроется еще одна загвоздка. У меня такое впечатление, что для них это не просто возможность, а необходимость.

— Необходимость! Вы хотите сказать, что рано или поздно они должны взорваться?

— По крайней мере, они так думают. Само собой разумеется, это может быть лишь их предположение. Правда, оно вроде бы подтверждается фактами. Во всяком случае, до сих пор все шло именно так, как они предполагали: вначале они есть, затем, в какой-то определенный момент, их уже нет; это и значит, что они умерли.

— Но ведь это абсурд: сущее, то есть в конечном счете все, не может оказаться ничем и полностью перейти в небытие.

— Зато оно может изменить состояние. Иначе как вы объясните взрыв звезды? Они перестают быть по отношению к тому, чем были раньше.

— Хм, все это сильно смахивает на софизм.

— При чем здесь софизм? Может звезда взорваться, или потухнуть, или вообще перестать быть тем, чем была, и даже превратиться во что-то еще?

— Конечно, но «может» еще не значит «должна». В этом огромная и прежде всего качественная разница.

— Не значит «должна»? Да мы-то откуда знаем? А что, если это некий естественный, всеобщий закон?

— Закон конца или изменения состояния? Да будет вам!

— А я и не настаиваю, ведь это они так считают.

— И на чем же основывается этот закон?

— На опыте. Я, как вы понимаете, рассуждаю в их ключе, точнее, опираюсь на их данные.

— На опыте! Но ведь опыт — это самый ненадежный метод исследования, самая обманчивая точка отсчета. Исходя из опыта, всегда можно прийти к двум взаимоисключающим результатам. Ссылаясь на опыт, можно утверждать все что угодно. Неужели из того, что взорвалась какая-то одна звезда, неизбежно вытекает, что и остальные звезды должны рано или поздно взорваться? Ну, а если, скажем, кто-то из нас вдруг прекратит свое существование, разве это приведет к прекращению существования всех? Что за околесицу мы здесь несем?

— Вместе с тем если бы каждую минуту перед нами взрывалась или гасла звезда, то подобные случаи, то есть сводимые к предыдущим будущие случаи, приобрели бы в наших глазах более вероятностный характер и в конце концов воспринимались бы нами почти как необходимость.

— Да что вы нам тут рассказываете? Простите, не вы ли сами учили нас не доверяться фактам и сохранять по отношению к ним присущую нам свежесть и, как вы выразились, девственность? Ладно. Дальше вы говорите о будущих случаях. Но ведь ни один случай полностью не сводится к другому, тем более предшествующему. К тому же наибольшая вероятность или почти необходимость еще не являются необходимостью, скорее они составляют ее полную противоположность. И, наконец, возьмем хотя бы первый случай. Спрашивается: как в идеале соотносится с ним второй случай? Свободно ли это соотношение, свободны ли мы в отношении второго случая? Я хочу сказать, что наше мнение могло быть определено и обусловлено уж после первого случая, в силу того представления, которое мы о нем составили. Так что вопрос о необходимости второго случая неизбежно оказался бы спорным, и мы никогда не сумели бы доказать его правомерность. И это только по

поводу второго случая. Что же тогда говорить о третьем, четвертом и так далее?

— Ну, да, да, а они все же тем временем умирают.

— А что, если это происходит потому, что они убеждены в необходимости умереть? При такой убежденности, возможно, и с нами случилось бы нечто подобное. Вы только посмотрите, до чего я додумался!

— Что я вам говорил?

— Да не-ет... Не мешало бы им набраться смелости и заявить раз и навсегда: «Тем хуже для фактов», — вот что они должны сказать. Однако продолжим. Значит, так: они умирают. Или только думают, что умирают?

— А разве это не одно и то же? По крайней мере, для наших рассуждений о том понятии, которое мы пытаемся определить. Скажу больше: если бы они только верили, а на самом деле не умирали, будь то для них хуже или лучше, в конечном счете это дало бы нам преимущество *a fortiori* \*, если так можно выразиться. Впрочем, все это не так просто, как кажется. Вот скажите, например, допускаете ли вы существование иных естественных законов? Или иных миров, где царили бы иные, отличные от наших, законы?

— В вашем вопросе столько оговорок... не говоря уже о том, что сформулирован он довольно небрежно, так как законов, которые бы управляли нами, не существует. В данном случае мы управляем законами, после того как сами же их и устанавливаем. Законы — это наше истолкование... Но даже если предположить более правильную формулировку вашего вопроса и постараться вникнуть в его суть, ответ у нас будет один: решительное нет.

— Значит, нет?

— А откуда, собственно говоря, взяться этим другим законам? Если мысль отречется от единства, все полетит в тартарары. Наше толкование... может быть лишь однозначно и едино.

— Молодцы, молодцы, отлично усвоили уроки... других  
\* тем более (*лат.*).

учителей. Однако осмелюсь вам заметить, что дважды вы не закончили одну и ту же фразу: «Наше толкование...» Так чего же?

— Вселенной, всего.

— То есть чего-то вне нас?

— Он, видно, полагал заставить нас врасплох этим вопросом.

— Разумеется, чего-то вне нас. Иначе термин «истолкование» да и любой другой, схожий с ним, оказались бы совершенно не к месту, а слово «мысль» потеряло бы всякий смысл. Короче говоря, истолковать самого себя невозможно, так как для этого пришлось бы использовать какую-то часть себя, то есть принять за истолкованное то, что еще нужно истолковать, или же ограничиться лишь частичным истолкованием.

— Превосходно, теперь уже вы твердите как по заученному, правда, у вас это получается побойчее!

— Все это имеет отношение к тому, о чем я собираюсь вас спросить, и в какой-то мере предваряет мой очередной вопрос: ну, а существование, хотя бы видимое, других законов вы можете допустить?

— М-м, это да, главное, чтобы они сводились...

— Конечно, конечно. Значит, можно считать, что смерть — это одна из множества вероятных видимостей?

— Опять вы со своими словесными пируэтами! Получается, что мы только зря пыхтели над всем этим... а над чем, собственно? Так смерть — это видимость или понятие?

— Еще одна хитроумная уловка!

— Тогда можно сказать, что это видимое понятие или понятийная видимость, а можно и так: понятие как видимость и видимость как понятие.

— Да здравствует ясность, а главное, да здравствует решение вопроса! И как прикажете нам все это понимать?

— Именно так, как вы поняли.

— То есть никак.

— Нет, нет, вот уже полчаса, как вы говорите о смерти, а это значит, что мне удалось дать вам о ней представление.

— Не обольщайтесь. До тех пор, пока мы не дошли до четкого определения...

— Оставьте в покое определения: здесь для нас они все равно невозможны. Не следует забывать, что речь идет или шла не о смерти в строгом смысле этого слова. Я лишь пытаюсь или пытался представить вам ее в качестве их идеи или... антиидеи. Иными словами, для вас, для нас смерть всегда останется понятием, даже если она не является или не являлась им сама по себе.

— Очередной трюк! Одни слова!

— Трюком скорее нужно назвать логику, за которую вы пытаетесь ухватиться.

— Как же вы нам ее представите, если сами не знаете, что это такое? С другой стороны, понятие тоже может и должно быть определено.

— Вы хотите сказать, представил. Бросьте, бросьте, что такое смерть, вы теперь уже более или менее знаете. Что есть смерть, знают все.

— Мы знаем это, этого не зная.

— Тем лучше: это и есть подлинная наука. Вот видите, как много и вместе с тем мало весят слова!

— Значит, смерть — это слово!

— Если хотите, да.

— Слово, которое ничего не значит!

— Отменно.

— Но пока смерть только затуманивает наше восприятие вселенной...

— Превосходно.

— ...не давая нам ничего взамен.

— Совершенно верно.

— Довольно с нас ваших загадок!

— То, что мы будем иметь дело с загадками, было ясно с самого начала. Посудите сами: если для них смерть — загадка, то что же тогда говорить обо мне или о вас?

— Да, ребята, что тут сказать? Видно, старик прав. По крайней мере, ясно, что он имеет в виду и куда клонит.

— Черта с два он прав!

— Это еще что за новости: «старик», «черта с два»? Попрошу вести себя подобающим образом, даже если вы соблаговолили признать мою правоту... Да, над такой загадкой стоит поломать голову; как знать, может, и удастся ее разгадать?

— Что ж, мы готовы.

— Видите ли, мои юные друзья, эдак мы с вами до скончания века можем просидеть. Меж тем должен вам заметить, что наша лекция и без того затянулась. Давайте на этом остановимся. К следующему разу...

— Еще чего выдумали! Вы что, намерены все так и оставить?

— Никакого следующего раза! Давайте дальше и без всяких выкрутасов!

— Выкладывайте, выкладывайте все до конца!

— Давай, давай!

— Как вам не стыдно! Да не будь у меня других причин закончить эту лекцию, одного этого было бы вполне достаточно. Это уже не лекция, а какой-то митинг.

— Митинг? А это что?

— Ну, это такая... штука, у них там, вроде бы для них очень важная.

— Ой, расскажите, расскажите! Ну да, мы виноваты, извините, но хоть вот столечко еще расскажите, а?

— О митинге или о смерти?

— Только не надо разыгрывать из себя простачка: расскажите нам что-нибудь такое, что давало бы пищу к размышлению. Это поможет нам в следующий раз быть во всеоружии.

— Хм, а что конкретно вас интересует?

— Ну вот, к примеру, вы сказали, что в определенный момент они умирают или что-то в этом роде. В какой именно?

— Кажется, по истечении определенного срока.

— Определенного срока?

— Да... Они, надо вам сказать, выработали еще и второе понятие. Думаю, что теперь-то оно с самого начала не вызовет у вас никаких трудностей: это понятие жизни.

Впрочем, «выработали» — пожалуй, слишком сильно сказано. Собственно, никаких особых усилий они и не прикладывали, ведь речь, по существу, идет все о том же понятии, только на сей раз перевернутом. Короче говоря, они называют жизнью то, что не является смертью. Вот, а умирают они после определенного отрезка жизни, который примерно одинаков для всех.

— Ну ничего себе! Нелепица еще похлеще первой! Как же это понимать?

— Боюсь, как бы этот разговор не увел нас слишком далеко. Хотя... разобраться во всем вполне возможно.

— А что же все-таки означает «определенный отрезок жизни»? Ведь он должен быть бесконечным, не с одного, как вы говорите, конца, так с другого, не от смерти, так отсюда. То есть в любом случае это бесконечность, а никакой не отрезок.

— Э-э, нет. Я понимаю, к чему вы клоните. Однако вы забываете, что они ограничены во времени и в пространстве или считают себя таковыми, изолируя тем самым собственное малое. В общем, вы забываете, что они не только кончаются, но и начинаются. И это начало они называют рождением...

— ...которое предполагает конец, то есть смерть?

— Безусловно: как конец предполагает начало, так и смерть предполагает рождение. К чему это вы меня все толкаете? Давайте не будем сейчас о том, что такое «сначала» и «потом», иначе все снова закрутится.

— «Сначала» и «потом»? Что это?

— Довольно, довольно, умоляю вас!

— Ну хотя бы какой-то ритм или периодичность прослеживаются в их бытии?

— Да, светлые вы мои головушки, прослеживается. Правда, нельзя сказать, что именно в бытии. В их понимании жизнь и бытие — не одно и то же и одним и тем же быть не могут. Другими словами, они не знают, чем были до рождения и чем станут после смерти.

— Не знают!



— Да, не знают, в этом-то все дело.

— А как же они существуют или... живут, так, кажется, нужно сказать?

— Об этом тоже в следующий раз. Что же касается ритма, о котором вы тут упомянули, то вот он как раз проявляется непосредственно в их жизни, если, конечно, верить имеющимся у нас сведениям.

— А каким образом он проявляется?

— Их жизнь как бы состоит из множества малых рождений и смертей. Разумеется, видимых или двойко видимых. Насколько я понимаю, это своего рода репетиция конечной смерти или прогоны начального рождения. Самое смешное, однако, заключается в том, что подобным образом они рождаются и умирают абсолютно одинаковое количество раз. При этом нужно учитывать, что первому рождению, назовем его истинным, не предшествует какая-то видимая смерть и что последняя смерть не сменяется видимым рождением. Поэтому их жизнь — это жизнь только наполовину, ровно наполовину.

— Что-то не очень понятно. Значит... Значит, жизнь состоит из рождений и смертей?

— Не состоит, а отмечена ими. После первого рождения следует определенный период жизни, который вскоре прерывается смертью. За ней следует определенный период смерти, в свою очередь прерываемый рождением, которому соответствует свой период жизни, и так далее, до последней смерти.

— Теперь и вовсе ничего не понятно.

— Подождите, это еще не все. Самое невероятное состоит в том, что эти периоды совпадают не только по количеству, но и по продолжительности. То есть и в этом случае малые рождения и смерти сменяют друг друга примерно через одинаковые промежутки времени.

— Наконец-то ясно. Хотя то, что вы хотите сказать... Но почему? И еще: что означает «период смерти»?

— Отрезок времени, можем мы теперь сформулировать, между малой смертью и малым рождением.

— Хитренький вы. Это-то мы как раз поняли. Мы спрашиваем о другом: если смерть — это конец, каким бы он ни был, то как она может являться периодом?

— Но ведь речь идет о видимости, о видимой смерти.

— Тогда что, этот отрезок времени представляет собой какой-то провал?

— Наоборот: на время этих периодов их существование не прекращается. Более того, оно протекает еще напряженнее в одном отношении и почти затухает в другом. Понятно?

— Всего несколько слов — а сколько несуразностей! Очевидно, их существование не прекращается и после главной смерти. Это раз. Скорее прекращается, и вы это сами сказали, их жизнь, которая одновременно есть и существование, хотя, вернее, поскольку является его частью. Это два. Мы могли бы и продолжить. Однако на самом деле вы, должно быть, намеренно выбрали этот двусмысленный, срединный термин «существование», чтобы как-то выйти из затруднительного положения. Так что придется вам объясняться.

— И не подумая!

— Не подумаете?

— Не стану я ничего объяснять! Лекция закончена, и к сказанному мне нечего добавить. От таких, как вы, просто никуда не денешься: вы цепляетесь буквально за каждую мелочь, за каждое слово и требуете бесконечных разъяснений, уточнений и так далее. Хватит!

— Тихо, а то он уйдет!

— Хорошо, хорошо. Только успокойтесь. Давайте лучше вернемся к нашему разговору. Итак, в течение этих периодов их существование протекает напряженнее в одном отношении и почти затухает в другом. Что же это за отношения в первом и во втором случаях?

— Ну ладно... А что, по-вашему, характеризует существование — существование или бытие? (Чтобы уж покончить с этим.)

— Ощущения, образы, мысли.

— Хм, в таком случае нет никаких сомнений в том, что

более полноценно они существуют в периоды видимой смерти, нежели в периоды собственно жизни.

— Следовательно, ваша аналогия, не говоря уже о несколько странной манере излагать мысли, была ошибочной и теперь нужно пересмотреть всю серию сделанных вами утверждений? Насколько мы поняли, все начинается со смерти, а кончается рождением?

— (Вот черти, совсем уже затюкали.) Пересматривайте себе на здоровье, все равно в конечном счете ничего не меняется. Только напрасно вы так пренебрежительно относитесь к тому, что у них есть тело или что сами они — тела... А вообще-то мы пока пребываем в нерешительности: эти их периоды или чередующиеся состояния видимой смерти и жизни...

— Тоже видимой?

— Не перебивайте! Эти их состояния, которые, кстати сказать, они называют соответственно сном и бдением, настолько уже тесно между собой переплелись, что невозможно определить, где настоящее, а где мнимое.

— Настоящее и мнимое? При чем здесь это?

— (Не такие уж они простаки.) Тут уже, понимаете, совершенно неясно, какой точки зрения придерживаться. Иногда начинаешь даже думать, что эти люди и впрямь, как считают некоторые из них, состоят из двух половин, одна из которых тело, а другая...

— А другая? А другая?

— Откуда мне знать! Наверное, то, что не есть тело и даже каким-то образом противостоит телу.

— Ну нет, профессор, так не пойдет. Представить себе существование двух различных естеств мы решительно не в состоянии. Вы обязаны нам сказать, тела они или нет.

— Послушайте-ка, мои милые, юные и весьма дерзкие друзья, давайте не будем сбивать друг друга с толку. Знания, которыми я обладаю на сегодняшний день, не позволяют мне заходить в своих рассуждениях слишком далеко. Тем более вот так, сразу, без подготовки. Да я даже не знаю, с какого боку ко всему этому подступиться... А что, если

внутри этих тел находится что-то наподобие огня, полыхающего глубоко под толстой корой небесных тел?

— Тогда почему это внутреннее «что-то» не прорвет свою кору и не избавится от тела?

— Ну и вопрос! А почему, скажите вы мне, не извергается внутренний огонь небесных тел? Честное слово, с чего это вы взяли, будто свобода обязательно тяготеет к еще большей свободе? Будто свободная стихия, к примеру тот же огонь, обязательно должна стремиться к бурному высвобождению? На самом деле она, наоборот, постепенно замыкается в себе, а свобода, если хорошенько приглядеться, тяготеет к рабству. Никакая это не духовная ценность и даже не высокое устремление. Виною всему наш порочный метод исследования, наши ложные послышки. А происходит это из-за нашей слепоты. Вдохновляясь частичными процессами высвобождения энергии или природных сил, ежедневно происходящими на наших глазах, и проводя, как это у нас принято, соответствующие параллели, мы убедили самих себя в том, что свобода есть цель, высшее благо, а заодно и безотказное средство. Но мы не видим главной цели: конечного и, почему бы нет, благотворного назначения всего этого. Какое там! Если и существует поистине бесполезная вещь, так это как раз свобода. Свобода — это даже не вещь, это вздох, ничто, которое ждет своего определения и предназначения. А это, как я уже сказал, и есть рабство. Свобода не может быть целью. Несчастливы те народы и эпохи, которые ставят перед собой подобную цель. Руководящим принципом вселенной является не принцип расширения, а принцип сжатия, не принцип растяжения, а принцип сокращения... Впрочем, что это я тут с вами пережевываю прописные истины, прямо как в вечерней школе! Мы тут разглагольствуем (и вовсе нет!), меж тем как эту нашу горе-лекцию давно пора бы уже закончить. Итак, вернемся к нашим баранам. Хотя нет, возвращаться мы ни к чему не будем; всего доброго, до следующего раза!

— Ну а как же...

— Что как же?

— Значит, их жизнь состоит и из сна, как вы его назвали, и из бдения?

— Точно.

— А потом они действительно умирают?

— Действительно. То есть как это действительно?

— Как, как?

— Нет, теперь вам меня на этом уже не поймать. До следующего раза!

— Хорошо, но как хотя бы проявляется эта смерть?

— Черт возьми, они перестают быть тем, чем были. К примеру, они перестают двигаться.

— А что, живые они двигаются?

— Еще как. Движение для них — одна из основных предпосылок жизни. В конце концов не так уж они и не правы: разве небесные тела останавливаются хотя бы на секунду?

— Они двигаются: вот это да!

— Кроме того — опять же ради примера, — умирая, они лишаются своего тела.

— Что-о? Что значит «ради примера» и «лишаются тела»?

— Ку-ку, дорогие мои! Так мы и вовсе никогда не кончим.

— Как жалко! Тогда ближе к делу. Значит, они умирают. Так. А потом, что происходит потом?

— Что происходит? Да ничего.

— Ну уж нет! Там, где кончается одно, обязательно должно начаться другое.

— Приходите завтра.

— Ну пожалуйста, профессор, ну хотя бы одну минутку, а? Расскажите нам еще что-нибудь такое.

— Ах, тако-ое!

— Ну, в смысле эдакое. Ведь самое интересное только начинается. Если до этого вы заставляли нас попусту напрягать извилины, то теперь вроде бы самое время рассказать обо всем по порядку...

— Не опаздывайте на следующую лекцию.

— Какая досада!

— Подумать только, какие прилежные и вдумчивые

юноши! Однако в любом деле надо знать меру. Всего доброго!

— Секундочку! Еще один вопрос: вы сказали, что бдение и сон чередуются?

— Да, бдение воспроизводит сон, а сон — бдение.

— Но...

— Я понимаю, что у вас не сходится, но ответить пока не могу. В общем, вы хотели бы знать, что же преобладает?

— Да, да!

— Ну так вот, точно я не знаю, но думаю, что бдение воспроизводит сон слабее, чем сон воспроизводит бдение. По крайней мере, сон самодостаточен, а бдение — нет.

— Какой же из этого следует вывод?

— Не знаю.

— Во всяком случае, вы понимаете, что если это обстоятельство верно, то его можно истолковать двояко?

— Понимаю.

— С одной стороны, из этого можно заключить, что важнее всего бдение, а с другой — что важнее сон.

— Выбирайте.

— Мы выбираем второе.

— Вот и чудно, поздравляю.

— Значит, по-настоящему они живут во сне?

— Считайте, что так, если вас это больше устраивает.

— Но ведь во сне тело не играет почти никакой роли?

— Вроде бы никакой, а если и играет, то весьма ограниченную. (Если я ослаблю внимание, они как пить дать снова втянут меня в разговор.)

— Следовательно, то, что в конечном счете умирает, и есть тело?

— Что за ерунду вы городите! С чего это вы взяли?

— Хорошо, тогда ответьте на такой вопрос: не будь у них тел или не будь они телами, могли бы они умереть?

— Не думаю.

— Вот видите, значит, тело и есть смерть?

— Я этого не говорил.

— Короче, вы не собираетесь нам больше помогать?

— Не теперь. До свидания.

— Нет, нет, погодите! Объясненьице на дорожку, плевенькое такое объясненьице, два слова — не больше!

— Двумя тут не обойдешься.

— Скажите, почему в начале нашего разговора вы употребляли как настоящее, так и прошедшее время, а затем — только настоящее?

— Смотри-ка, что откопали! Ну да, для простоты дела я стал ограничиваться одним настоящим, хотя... А вы разве не знаете, чем все кончилось?

— Нет.

— Ну-у... Те, кто туда отправился, так и не вернулись. Поначалу от них еще поступали сообщения, хотя и не совсем понятные, потом прекратились и они... Поэтому нам даже неизвестно, существуют ли еще обитатели этой далекой туманности, или их уже нет.

— То есть умерли они или превратились в нечто еще?

— Ну да, скажем так.

— А когда отправились туда наши?

— Кто его знает! С тех пор большая западная звезда уже больше ста тысяч раз пересекла небесный экватор.

— Ой, профессор, расскажите, расскажите!

— Фига с два!

— Что-что?

— Так, кажется, они иногда выражают или выражали отказ.

— О-о! А-а! Значит, вы твердо стоите на своем?

— Твердо.

— Значит, лекция действительно окончена?

— Слава богу, да.

— Выходит, это и есть пресловутая смерть?

— Значит, да. Но все-таки что же это? Я пытался как-то вас воодушевить, но теперь чувствую, что и меня охватывают некоторые сомнения. Одному богу известно, что вы там поняли. В любом случае давайте подытожим в двух словах все, о чем здесь говорилось...

— Хорошо, но подытоживать будем мы сами. Так вы скорее поймете то, что поняли мы.

— Ладно, только поскорее.

— Итак, мы поняли, что ничего не поняли.

— Невероятно! Это превосходит все мои ожидания. Один из их мудрецов \* говаривал: «Я знаю лишь то, что ничего не знаю».

— Для существа смертного сказано очень даже неплохо.

— Давайте закругляться; у вас все?

— Сейчас, сейчас. Значит, так: в конечном итоге, что такое смерть, нам неизвестно, следовательно, не доказано, что она вообще наступает. Что же касается фантастического понятия смерти, то это самое абсурдное и непостижимое из всех понятий, которые . . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Но тут неожиданно произошло то, что действительно положило конец лекции, впрочем, не только лекции, а и всему курсу лекций, как и всему сущему вообще. Небо все вокруг вспыхнуло и залилось чудовищным северным сиянием. В мгновение ока причудливые сполохи света приобрели зловещий пунцовый отлив. Нестерпимым огнем бушевала и кровоточила окрест целая вселенная. В считанные секунды температура поднялась на миллионы градусов. Еще короткий миг — и звездная земля, приютившая пылких собеседников, взорвалась... даже нельзя сказать оглушительно, потому что и слабого отголоска этого грохота услышать было уже некому.

Должен признать, что эта космическая катастрофа странным и одновременно роковым образом совпала с истине невыносимой скукой, которую я, телетелестенограф, начинал уже испытывать. И вот я спрашиваю себя: каково же было намерение Вечного? Показать, что смерть не только существует, но и безгранично властвует даже в этих далеких галактиках? Или же просто наказать

\* Сократ.



этот народец за его невероятную занудливость?

Что за невежи, в самом деле, не знаю даже, как таких и назвать. Вот разве что пикское \* словечко «закомуристый» тут подошло бы. Что за олухи царя небесного: виданное ли дело — разводить эдакую тягомотину вокруг того, что понятно каждому? А сколько в них апломба, какие они все с виду философы! Они же не затихали ни на минуту: хватали на лету первое попавшееся слово — и ну тискать его, как податливую женскую грудь. Но философия ли это? Вместо того чтобы плыть по широкой реке, они растекались по ручейкам и протокам и блаженно плескались в них, даже не заботясь об элементарной логике, обо всем том, что возвеличивает и прославляет нашу собственную философию. Ну ладно... а каково при этом бедняге слушателю (такому, как я, например)?

Хотя справедливости ради следует отнести к ним с уважением. Я объясню почему. В одном они были, без сомнения, правы: что бы Вечный ни делал, смерти все равно нет и еще раз нет. Ведь чем-то они все-таки остались, коль скоро и по сей день продолжают странствовать во вселенной. Ведь коль скоро они странствуют, их дух или частица его могли войти в тело любого из нас. А каждый, кроме разве что авторов научно-фантастико-галактических романов с философским налетом, должен с уважением относиться к самому себе.

\* Пико — местечко в области Лацио, где родился Т. Ландольфи.

# Содержание

- 5 *Л. Аннинский. Бытие и небытие Томмазо Ландольфи*
- 16 *Диалог о главнейших системах. Перевод Г. Киселева*
- 35 *Вор. Перевод Г. Киселева*
- 39 *Провинциалки. Перевод Г. Киселева*
- 45 *Свадебная ночь. Перевод Г. Киселева*
- 49 *Тайный брак. Перевод Г. Киселева*
- 58 *Меч. Перевод Г. Киселева*
- 66 *Вечер в провинции. Перевод Г. Киселева*
- 71 *Разбойничья хроника. Перевод Г. Киселева*
- 82 *Из «Популярной мелотехники». Перевод Г. Киселева*
- 95 *Новое о психике человека. Человек из Мангейма.*  
*Перевод Г. Киселева*
- 119 *Обратная сторона луны. Перевод Г. Киселева*
- 123 *Солнечный удар. Перевод Г. Киселева*
- 126 *Огонь. Перевод Г. Киселева*
- 131 *Смех. Перевод Е. Солоновича*
- 149 *Аллегория. Перевод Е. Солоновича*
- 154 *Фрагмент, лишенный смысла. Перевод Г. Киселева*
- 160 *Наперекосяк. Перевод Г. Киселева*
- 174 *Мудреное понятие. Перевод Г. Киселева*

**Ландольфи Т.**

**Л22** Солнечный удар: Рассказы / Пер. с итал. Сост. Г. Киселева. Предисл. Л. Аннинского. — М.: Известия, 1987. — 224 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Советскому читателю предстоит первое знакомство с книгой рассказов известного итальянского прозаика Томмазо Ландольфи. Фантастические события и парадоксальные ситуации, составляющие фон многих рассказов, всепроникающая авторская ирония позволяют писателю с большой силой выразить свое художническое видение мира и показать трагическое одиночество человека перед лицом фашизма (ранние рассказы) и современной буржуазной цивилизации.

Л  $\frac{4703000000-044}{074(02)-87}$  71—87

**ББК 84. 4 Ит  
И (Итал)**

**ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ  
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР**

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Канторович*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Т. Старостина*

ИБ № 1113

---

Сдано в набор 30.07.86. Подписано в печать 20.01.87. Формат 70x100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 9,83. Тираж 50 000 экз. Зак № 821. Цена 1р. 10 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---